

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ЦДЛ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Дубовые стены обеденного зала были коричневые, прокалённые, пропитанные табаками курильщиков, запахами кофейных зёрен, дымком жареного мяса, ароматами вкусных вин. Отломи ломтик дубовой доски, кинь в кипяток, и вода станет темнеть, как в чашечке кофе. Пей, смакуя, маленькими глотками, вкушай, дожидаясь, когда появятся галлюцинации. Тебе вдруг явится Максим Горький, похожий на моржа, с вишнёвой трубкой, только что провозгласивший мистическое учение Соцреализма. Исаак Бабель, испивший славу своей слёзной и кровавой “Конармии”. Александр Фадеев вернулся из Кремля и нащупывает среди рукописей холодное тельце пистолета. Константин Симонов, щеголеватый, с обольстительными усиками, льёт вино в бокал очередной красавицы...

Виктор Ильич Куравлёв был автором нескольких книг, снискавших благосклонность критиков. Однако книги не одарили его ослепительным успехом, когда произведение вдруг полыхнёт, опалит хладные умы ценителей, утомлённых воспеванием одних и тех же обветшалых кумиров. Такая книга ворвётся неожиданно, словно метеорит. Озарит, обожжёт, прогрехочет, как взрыв. Пошлёт взрывную волну читателям, заждавшимся нового литературного светоча.

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”, “Человек звезды”, “Время золотое”, “Убийство городов”, “Губернатор”, “Гость”, “Певец боевых колесниц”. Живёт в Москве.

Но взрыва всё не было. Была короткая вспышка, не способная затмить царствующие светила. Новая выпущенная Куравлёвым книга обещала долгожданый триумф, дразнила честолюбие сладкими и пугающими ожиданиями.

Куравлёву было под сорок. Большой белый лоб без морщин, словно его не коснулись мучительные раздумья. Длинные каштановые волосы ниспадали почти до плеч, что вынуждало Куравлёва изредка встряхивать головой, отбрасывая назад мешавшую прядь. Серые глаза прищурены, как у стрелка, который высматривает цель. Рот насмешливый, но в улыбке не было злой иронии, а только весёлость человека, которому многое кажется забавным. Он не позволял себе высмеивать чужие недостатки, вслух подмечать слабости литературного письма собратьев по перу.

Книга, на которую он уповал, называлась “Небесные подворотни”. Она была об архитекторе-футурологе, что проектировал города будущего. Космические поселения, подводные лаборатории, летающие небоскрёбы, которые распадались на малые частицы и, как семена одуванчика, неслись по ветру в полярные льды, раскалённые пустыни и там вновь собирались в города. Фантазии архитектора проходили в современной Москве, среди заводских конвейеров, очистных сооружений, мясокомбинатов с окровавленными тушами, среди многолюдных рынков и весёлых аттракционов. Метафора книги сводилась к тому, что мечтатель-одиночка стремится преодолеть гравитацию материального мира и вырваться в чудесные миражи будущего. Он терпит крах, завещая своё дело будущим поколениям. “Я потерпел земное поражение, но одержал победу в небесах”.

Теперь эта книга, только что из типографии, в девственной свежести и красоте, лежала на столе Дубового зала ЦДЛ, где Куравлев с приятелями праздновал её выход.

— Ну, что, Витя, я тебя поздравляю с добротным романом. Полагаю, это твоя лучшая книга. — Писатель Антон Макавин, близкий друг Куравлёва, поднялся, держа в руках рюмку водки. — Этот роман — мечта о будущем. Сегодня литература тоскует о прошлом. “Деревенщики” — плакальщицы о былой деревне, где витал настоящий русский дух. “Городская проза” Трифонова не может смириться с разгромом ленинской гвардии, откуда все они родом, и власть попили русской кровушки. Твой роман, Витя, о будущем, которое так и не наступило. Поздравляю с книгой! — Макавин чокнулся с Куравлёвым, вся застольная братия потянулась следом. Макавин был породистый крепкий уралец, в которого чуть капнула азиатская кровь, подарила ему широкие скулы и узкие степные глаза. Он писал небольшие рассказы и повести о современном человеке, утратившем всякую связь с государством, бегущем от государства, кто в странствия, кто в запой, кто в камерную потаённую любовь. Куравлёв ценил его добротный слог, лишённый образности, где фразы напоминали грубоватые деревянные брусочки с запахом распиленного леса.

Уже были съедены мясные и рыбные закуски, картофельные клубни с селедкой, и следовало подавать жюльены. Поднялся с рюмочкой Пётр Липустин, низкорослый, с синими колкими глазками, с золотистой бородкой, маленький красивый помор, писавший свои романы о староверах и странниках на волшебном языке, на коем, как он утверждал, говорили его предки в рыбацких артелях, в охотничьих угодьях. Ставили по берегам Мезени громадного роста “обетные” кресты, распевая песни о корабльщиках и синем море.

— Ну, что мне сказать, Витя? Хорошая разноцветная книга. Такие метафоры, упадёшь в одну, как в волчью яму, и барахтаешься, пока кто-нибудь шест не протянет. Конечно, никто из нас так не опишет машину, словно она тварь живая, а не железяка бездушная. Но душу, душу сумеи описать! Русская литература душевная, а у тебя вместо души — самолётный пропеллер. Ты, Витюха, не обижайся за мои слова. Книга твоя бесподобная! — Он закрыл синие глазки, опрокинул рюмку, отёр рукавом золотые усы.

— Витенька, не надо метаться, не надо куда-то мчаться. Смотри на мир широко открытыми глазами, и мир сам к тебе придёт. — Писатель Анатолий Апанасьев, похоже, не читал книгу. Но в его милом лице, в круглых

птичьих глазах было столько дружелюбия, искренней радости, что Куравлёв прощал Апанасьеву легкомыслие, невесомость суждений, которыми были полны его ироничные рассказы. У этого славного, одарённого человека слушались запой, появилась большая склонность играть на автоматах. Он просаживал все гонорары, обрекая на страдания очаровательную жену, принимавшую его дома после попойки и уличной драки.

— Русская литература умеет описывать душу, природу, крестьянский и дворянский быт. А машину не умеет. Куравлёв же умеет. Он одухотворяет машину, не даёт ей сбеситься, позволяет рядом с машиной жить человеку, расти дереву. Это твой подвиг, Куравлёв, но и твой крест. Тебя возненавидят “деревенщики” и проклянут жившие в “Доме на набережной”. — Все это ворчливо и обиженно произнёс писатель Фаддей Гуськов, почитавший себя последним русским романтиком, считавший вершиной русской словесности “Петербург” Андрея Белого.

— Я считаю, книгу Куравлёва прорывной. В главном герое — каждый из нас. Мечтает о красоте, о чуде, а его топчет тоталитарное государство, как оно всегда топтало художника. Язык великолепный. Бойня в центре Москвы, заклятие коров — это ужасно и восхитительно! Очистные сооружения с мутной канавой, по которой, как белые пузыри, плывут тысячи презервативов после обычной московской ночи! Витя, обещаю хвалебную рецензию в “Литературной газете”. Мне её уже заказали. — Критикесса Наталья Петрова, нервная, худая, с узким козым лицом, по которому пробежал болезненный тик, была равнодушна к Куравлёву. Добивалась его внимания, уповая на незримую зависимость писателя от критика, который тонко этой зависимостью пользовался.

— После выхода статьи Натальи ты, Витя, станешь, наконец, знаменитостью. Обещаю тебя повести в “Аэропорт” и представить “властителям дум”. Не в кабинетах начальства, а в квартирах “Аэропорта” вершится литературный процесс, создаются и рушатся репутации. — Поэт Марк Святогор, щекастый, лупоглазый, с сеткой красных сосудов на носу, с румянными плотоядными губами, слыл посредником между литературным миром и влиятельными кругами, проживающими в писательских домах у метро “Аэропорт”. Его называли “свахой”, а иногда и “сводней”. Он водил на смотрины молодых писателей, чтобы те получили мандат, открывавший двери в “большую литературу”. — Скажи, Витя, когда будешь свободен? Андрей Моисеевич Радковский ждёт нас в любое время.

Куравлёв выслушивал их всех с благодарностью. Иногда слегка обижался. Сознавал, что с этими высказываниями книга начинает своё публичное существование. Из рабочего кабинета писателя, из типографии уходит в мир.

Официантка принесла на подносе жульены, в маленьких мисочках с длинными ручками желтели запечённые в молоке грибы.

— Таня, ещё графинчик водочки. Только холодненькой, — попросил Куравлёв официантку, полную красавицу, разряженную быстрой ходьбой и одной-двумя чарками, которые она успела перехватить на бегу.

— Может, сразу пару графинчиков? Поздравляю, Витя, с новой книгой! — Она просияла красивыми влажными глазами, в которых была искренняя радость, озорная весёлость и какое-то бабье тёплое и нежное обожание.

Их был десяток, официанток ЦДЛ, уже не молодых, состарившихся и подурневших за годы работы в ресторане. Они, эти Тани, Раи, Аллы, были не просто обслугой. Они были весталками Дубового зала, хранили дух огромной, вздорной писательской семьи, полной вражды, интриг, честолюбивых гордецов, пьяных скандалистов, весёлых развратников. Они носились с подносами и знали состояние литературных дел не хуже титулованных критиков, хотя едва ли читали толстые романы знаменитостей или тощие поэтические книжицы поэтов-неудачников. Официантки следили за вознесением и угасанием кумиров. Знали их любовные связи с женщинами-однодневками, которые, как бабочки, появлялись и исчезали в Дубовом зале. Они прощали пьяным бузотёрам грубости, слушали исповеди, ссужали деньги пропойцам. Они были на триумфальных торжествах и печальных панихидах, когда провожали в безвестность очередного завсегдатая Дубового зала. Они прижимали к своим

пышным грудям голову плачущего пьяницы, принимали от успешного творца щедрые чаевые, приберегали столики для любимчиков, тех, кто смог прийти в ЦДЛ поздно вечером. Они имели здравое суждение о каждом писателе не только по его щедрости или скарденности, но и ценили дарование каждого, не уступая литературным критикам. К их числу принадлежала официантка Таня, помнившая Куравлёва робким новичком, с благоговением переступившим порог Дубового зала.

— Будет водочка, холоденькая. Скажете, когда подавать горячее.

— Вот ты говоришь, пишу машину. — Куравлёв обратился к Лишустину, слегка уязвлённый его замечаниями. — А ведь государство — это тоже машина, мегамашина. Одухотворить государство, наделить его человеческими чертами, душой, понять государство как благо, а не вечное для народа несчастье.

— Государство и русский народ — разные сути. Государство давит русский народ, ломает ему косточки, а народ только слёзы утирает да терпит. Бойся, Витюха, государства. Оно тебя разжует и выплюнет, — заспорил вечный спорщик Лишустин.

— Но ведь Горбачёв старается смягчить государство, вскрывает его преступления, даёт народу свободу. — Критикесса Наталья Петрова дерзко обрвала Лишустина, которого недолюбливала за излишнее славянофильство. Она была увлечена “перестройкой”, писала статьи о Солженицыне, Рыбакове, Трифонове.

— Твой Горбачёв меченый. Его чёрт пометил. Через него с Россией большая беда случится. Он русского человека искушает, как бес. А русский человек по наивности опять в капкан лезет, — сердился Лишустин.

— От государства народ бежит. Когда последний человек сбежит от государства к Солженицыну, государство падёт, — произнёс Макавин, и было неясно, радуется ли он скорому падению государства или сожалеет об этом.

— Куравлёв сам того не сознаёт, что он государственный. Если случится выбирать между народом и государством, он выберет государство, — про бурчал Фаддей Гуськов.

— Андрей Моисеевич говорит, что настоящий художник всегда должен противостоять государству. Надеюсь, для вас Андрей Моисеевич авторитет? — Поэт Марк Святогоров строго посмотрел на приятелей, желая убедиться, что Андрей Моисеевич для каждого — непререкаемый авторитет.

— Для меня да. — Апанасьев посмотрел на Святогорова сияющими искренними глазами, — Андрею Моисеевичу доверяю. Но Семёну Израилевичу больше.

Дубовый зал наполнялся, свободных мест становилось всё меньше. Давно погасло готическое окно с витражом, сквозь которое днём проливался золотой, алый, зелёный свет. Окрашивал столы и сидевших за ними писателей. Был вечер, под высоким потолком, среди тяжёлых дубовых пролётов горела огромная туманная люстра, без сверканья хрусталей, словно была погружена в дымное облако. За столами сидели компании, собравшиеся по литературным пристрастиям.

“Деревенщики” сидели артелью, густо, слитно. Пили водку, вскакивали, обращали восторженные речи к своему духовному светочу Валентину Распутину. Тот спокойно сидел, принимая похвалы эпигонов, с лицом печальным и усталым. Словно жалел этих шумных людей, которых всех ждал горький удел неудачников. “Деревенщики” то и дело оглядывали зал, нет ли угрозы для духовного светоча. Окружали его, как пчёлы матку. Сам же Распутин был далеко от этих мест, в родной Сибири, где Ангара среди пахучих лиственниц катит в Байкал свои светлые струи.

За другим столом, среди сплочённых собратьев, сидели Фазиль Искандер и Натан Эйдельман, который страстно шевелил розовыми мокрыми губами. Остальные заворожённо внимали и вдруг разом, на весь зал, начинали хохотать. Громче всех, нарочито привлекая внимание и раздражая “деревенщиков”, хохотал Франк Дейч. Он работал на радио “Свобода” и пользовался почитанием свободомыслящих писателей. Он оглядывал зал ястребиными глазами. Куравлёв поймал на себе его острый, выклёвывающий взгляд.

Между этим столом и столом “деревенщиков” нет-нет, да и мелькала искра, какая пробивает фарфоровый изолятор.

За двухместным столиком с оранжевой лампой сидел Андрей Вознесенский с испанской переводчицей, которая готовила испанский перевод его стихов и поездку по Испании с выступлениями в университетах. Поговаривали, что этот столик оснащён подслушивающим устройством, ибо туда всегда сажали писателя и иностранного гостя. Андрей Вознесенский шевелил пухлыми губами, быть может, читал стихи. Испанская переводчица что-то лепетала, а их обоих записывал тайный магнитофон, делая разговор доступным офицеру Лубянки.

За другим двухместным столиком сидел Владимир Солоухин с молодой красоткой. Уже давно миновала опала, когда писатель-монархист заказал себе перстень из золотой николаевской монеты с изображением царя-мученика. Солоухина вызывали на партийное бюро и грозили исключить из партии. Теперь, в новые времена “перестройки” он свободно носил золотой перстень. Это не считалось проступком, у Солоухина обнаружили единомышленники, не громко, но поговаривали о возрождении в России монархии. Когда Солоухин, обрюзгший, стареющий, появился с молодой красавицей на пороге Дубового зала, стол “деревенщиков” шумно заплодировал, а стол демократов умолк, и там раздались смешки.

За столом, где Куравлёв праздновал выход книги, уже вёлся бесконечный русский спор, не умолкавший добрые двести лет.

— Ты русский народ не тронь, слышишь, — пылко говорил Лишустин, задетый неосторожным замечанием Гуськова. — Он Божий народ. Через него в мир свет приходит. Он на себя все скверны мира берёт и тьму претворяет в свет. Поэтому его мир ненавидит, что он укоризна миру. Русский народ смотрит в небо, видит Небесное царство. Пока есть на земле русский народ, дотоль у людей будет ключ от Небесного царства. Оттого демоны бьют русский народ, чтобы у него ключи отнять. Они хотят русский народ покорить, отнять ключи и отлучить от Небесного царства. Нет выше русской любви, русского терпения, русской веры в то, что когда-нибудь и на земле будет Небесное царство. Русские — люди неба. Соединяют небо и землю. Через русских небо нисходит на землю и на земле торжествует!

Гуськов был уязвлён речью Лишустина, которая прозвучала как обличение Гуськова. Брюзливо оттопырив нижнюю губу, он с нарочитым занудством показывал, как скучны, вторичны старообрядческие взгляды Лишустина:

— Ну, во-первых, Пугачёв не менее русский, чем Серафим Саровский. И на Руси число плах превышает число алтарей. Верещагин, изобразив гору черепов, показал, как русские обращаются с иноверцами. Вряд ли о русской набожности свидетельствуют тысячи разорённых церквей, которые, кстати, будучи разорёнными и осквернёнными, гораздо духовнее пышных соборов. Из этих церквей ушёл Бог и вернулся, когда русский народ пожёг золотые иконостасы и парчовые хоругви. Русские не нуждаются в твоём елее, они создали империю между трёх океанов, действуя сначала мечом и штыком, а уж потом возжигая кадила.

— Ты русофоб, Фаддей! Не хочу иметь с тобой дела! — Лишустин порывался вскочить и покинуть застолье. Но Макавин его удержал:

— Русский человек, друзья, бежит и от рая, и от ада. А куда он бежит, неизвестно. Это загадка всем нам на следующие века.

— Все вы правы! — воскликнула Петрова, — Правы, потому что искренни. “Перестройка” позволяет писателю быть искренним.

— Того же мнения Андрей Моисеевич, — важно промолвил Святогоров, будто он сам и был Андреем Моисеевичем, тайным мудрецом у метро “Аэропорт”.

Куравлёв не вступал в спор. Наслаждался этой мнимой распрей, не мешавшей им оставаться друзьями, представителями нового литературного поколения, несущего в себе родовые изъяны предшественников.

По Дубовому залу пронёсся ропот. Сидящие за столами повернулись все в одну сторону. В ресторан входили, тесно держась друг друга, знаменитости из национальных республик.

Впереди, как вожак стаи, выступал дагестанец Расул Гамзатов, носатый, с добрыми хмельными глазами, розово-красный от выпитого вина. Он что-то неразборчиво и дружески пробурчал подскочившим официанткам, и те расцвели улыбками. Пригласили любимцев к особенному столу, что был накрыт у резного, увитого виноградной лозой, столба. За Гамзатовым следовал его неразлучный друг, калмык Давид Кугультинов. Широкое степное лицо было изъедено оспинами. Он держался независимо. Пусть все знают, что он величина не меньшая, чем Расул Гамзатов. И что именно о нём великий Пушкин сказал: "...и друг степей калмык". Чуть сзади топтались башкир Мустай Карим, усатый, понурый, видимо, утомлённый непрерывными возлияниями, которыми сопровождался приезд в Москву, и балкарец Алим Кешоков, невысокий, с умными печальными глазами. Все четверо представляли свои народы, были духовными пастырями в своих республиках, служили поводьями, путь которым указывал русский Кремль.

Их всех обожали официантки за щедрые чаевые. Их появление в Дубовом зале превращалось в восточный праздник с цветистыми тостами и разливным винным морем.

Гости, явившиеся от дальних гор и степей, проследовали к столу. Не глядя в меню, потребовали блюда.

Между тем, к столу, где обмывал свою книгу Куравлёв, принесли горячее и ещё один графинчик "Столичной". Кому достался жареный карп, золотистый, румяный, с хрустящей бесподобной корочкой. Кому — цыпленок табака, бесстыдно раздвинувший на тарелке мясистые ляжки, в которые тут же стали тыкать вилкой и поливать чесночной приправой. Кому принесли котлету по-киевски, полную горячего сока, с бумажным цветочком на косточке. Куравлёв получил свою любимую вырезку; острым ножом он отсекал от неё розовые, с кровью лепестки. Пили за книгу, за дружбу, за литературное художество, как высшее достижение человеческого духа.

— Друзья, вот я смотрю на вас, дорогие мои, и люблюсь. — У критикессы козье лицо порозовело от выпитой водки и вкусной еды. — Честное слово, вы все такие талантливые, такие разные и при этом едины. Вы так не похожи на "деревенщиков" с их пряслами, околицами, овинами. И не похожи на диссидентов, которые расправили свои сутулые плечи и заявляют, что "перестройка" — их рук дело. Вы так не похожи на вельможную, "секретарскую" прозу, которую пишут секретари Союза писателей суконным языком цеховских приёмных. Мы — новое явление в литературе. Давайте об этом заявим!

— Что, хочешь вскочить на стол и закричать? Ну, вскакивай, вскакивай, коза! — поощрял Лишустин.

— Первый, кто тебе ответит, это куратор КГБ Карпович. Он напишет донос на Лубянку о новом диссидентском движении, — хмыкнул Гуськов.

— Бойтесь попа Гапона, — усмехнулся Макавин.

— Осторожней, осторожней, друзья. Давайте сначала посоветуемся с Андреем Моисеевичем, — благоразумно предложил Святогоров.

А Куравлёв вдруг почувствовал весёлую дерзость, озорное вдохновение:

— Почему бы нам не создать свой клуб единомышленников? Назвать его как-нибудь интересно. Ну, не "Зелёная лампа", а, скажем, "Синий петух", например, или "Шестикрылая рыба"! Я только "за"! Наталья, пиши манифест, я поговорю с писателями. Хватит нам быть травой, по которой ходят слоны. Мы не трава! Мы синие петухи! Мы шестикрылые рыбы! — Куравлёв дерзновенно посмотрел на "деревенщиков", которые разом обернулись. Надменно улыбнулся Натану Эйдельману, который умолк и перестал смеяться. И только дети гор и степей не слышали Куравлёва. Расул Гамзатов стоя произносил тост на чудовищном русском, и трудно было поверить, что это ему принадлежат мудрые и благоговейные стихи, похожие на притчи.

— Вот, Витя, ты и будь главной шестикрылой рыбой, — радовалась Петрова, глядя на Куравлёва обожающим глазами.

— Я не возражаю, — кивнул Макавин. — Тебе быть главным синим петухом, который первым попадёт в суп.

— Всё-таки я бы сначала посоветовался с Андреем Моисеевичем, а уж потом писал манифест, — произнёс благоразумный Святогоров.

Куравлёв щёлкал пальцам, подзывая Татьяну, заворожённо внимавшую косноязычию Расула Гамзатова.

На пороге Дубового зала появился крупный человек с чёрной гривой. У него была короткая шея, поэтому голова откинута назад, что делало его надменным. Чёрные глаза горели фиолетовым пламенем. Орлиный клюв поворачивался в разные стороны. Это был тот, чьего имени никто не знал. Его называли “ангелом смерти”. Он находился на службе в Союзе писателей и ведал похоронами усопших. Теперь он стоял на пороге Дубового зала, водил надменно запрокинутой головой, высматривал чёрно-фиолетовыми глазами жертву. Того, чей портрет с траурной лентой скоро появится в вестибюле ЦДЛ.

Глава вторая

Когда невод, полный рыбы, вытягивают на берег, то случается треск, блеск, брызги, хлопанье жабер, удары хвостов, множество открытых ртов и горящих глаз. Такое впечатление после респектабельного Дубового зала производил Пёстрый зал ЦДЛ.

Он звался пёстрым, потому что стены его были разрисованы множеством изображений, весьма кустарных, с автографами писателей. Здесь карикатурно был представлен Сергей Михалков, остроносый, с крысиными усиками. Под стихком, где рифмовались слова “тушёнка” и “Евтушенко”, красовался сам поэт, похожий на остроносого Буратино. Отдельно, страшновато, находилось изображение Вельзевула, рогатого, с козлиной бородкой, в звериной шерсти.

Было тесно, впритык стояли столики. Шумели, кричали, читали стихи, ссорились, пьяно целовались писатели, те, кому не по карману ужин в Дубовом зале. Или те, кто хотел насладиться этим пьяным сумбуром, покричать, узнать последние сплетни, поссориться, помириться. Насладившись, нахваставшись, нахохотавшись, писатель перемещался в Дубовый зал, превращаясь в степенную величавую персону.

Совершив “омовение” книги “Небесные подворотни”, компания распалась. Лишустин, Гуськов и Святогоров откланялись, сославшись на домашние заботы. Апанасьев вдруг обнаружил нетерпение, нервную торопливость и исчез, должно быть, к игральным автоматам. А Куравлёв, Макавин и критикесса перешли в Пёстрый зал.

Чудом освободился столик. Макавин ринулся и занял свободное место. К нему присоединились Куравлёв и Петрова.

— Что-нибудь будем пить? — спросил Макавин.

— Только кофе, — ответил Куравлёв, испытывая блаженное опьянение, которое лишь усиливалось от обилия вокруг пьяных людей.

Водку и кофе продавали за стойкой две разгорячённые буфетчицы, то и дело включая шипящую кофеварку, раскупоривая водочные бутылки.

Макавин принес кофе. Сидели и пили маленькими глотками. Крутили головами, отзываясь на возгласы.

— Это “первичный бульон”, из которого произошла жизнь. Здесь бактерии, микробы, первые рептилии. Все друг друга едят, тем самым способствуют выживанию самых живучих, — посмеивался Макавин.

— Сильных или несъедобных? — спросила Наталья.

— А это уж тебе судить, дорогая. Ты, критик, пробуешь их на вкус, — усмехнулся Куравлёв и тут же смутился. Это могло показаться намёком на многочисленные романы, случавшиеся у Натальи Петровой с литераторами, о которых она писала.

Но Петрова не усмотрела издёвки, а словно невзначай накрыла ладонью руку Куравлёва.

— Мы говорили о клубе “шестикрылых рыб”, — горячо произнесла она. — А ведь это не шутка, сказал и забыл. Мы вместе огромная сила. Как торпеда, ворвёмся в литературный процесс и займём в нём принадлежащее нам место.

— Откидное? — пошутил Макавин.

— Это место в партере, в первых рядах. Вы достойны этого места. Хватит отдавать все литературные премии назначенцам секретарей! Заграничные поездки, квартиры в писательских домах. Хватит уступать всё это пресыщенным старикам. Вы — новое поколение, авангард! Вы покорители вершин!

— Литературные альпинисты? — хмыкнул Макавин. — Как, объясни, мы заберёмся на пик Женьки Евтушенко?

— А вы не знаете, как Евтушенко, Рождественский и Вознесенский добились успеха? Три немолодые активные женщины по стовору женили на себе перспективных молодых поэтов. Сделали им литературную судьбу. Заказы-вали и писали рецензии, знакомили с влиятельными особами у “Аэропорта”. Они, эти умные бабы, раскрутили мальцов, те стали собирать стадионы, а их жены купались в славе и деньгах мужей.

— Раскрути меня, Наталья, — засмеялся Макавин. — Буду крутиться вокруг тебя.

— Подумайте о том, что я сказала. Я напишу статью о “Небесных подворотнях” Куравлёва и сопоставлю их с твоим, Макавин, “Шёпотом камней”. Упомяну о книге Гуськова “Гигантские карлики”, о романе Лишустина “Бафомет из Малиновки”. Вот вам и новое направление, литературный прорыв. Следом пойдут разгромные статьи и хвалебные оды, а это и есть раскрутка.

— Ты гений, Наталья, но это значит, что все мы должны на тебе жениться? — спросил Макавин.

— Не все, а некоторые, — засмеялась Петрова и другой ладонью накрыла руку Макавина.

К их столику подскочил писатель Шавкута, растерзанный, горячий, как из драки. Его синие глаза безумно сияли. Смотрели куда-то в бесконечную даль, откуда он явился в Москву с кучей рукописных рассказов о великих стройках. Он был монтажником и собирал громадные серебряные цилиндры, сферы, башни нефтеперегонных заводов, когда начался сибирский нефтяной бум. Он издал рассказы в тонкой книжице, которая восхитила Куравлёва способностью автора рассказывать не только о коллизиях в рабочих коллективах, но и живописать сияющую сталь, огонь, дым, громадные серебряные заросли конструкций. Шавкута пропил своё дарование, тратил дни на попойки в Пёстром зале ЦДЛ, участвовал в драках, и его имя висело при входе, вместе с именами других скандалистов, кому отказывали в посещении Центрального дома литераторов.

— Слушай, Куравлёв, ты великий писать, почти как я. Будь другом, одолжи червонец. На неделю. У меня договор на новый роман. Будет аванс. Я отдам!

Куравлёв знал, что нет никакого романа и не будет аванса, но просьба была столь страстной, глаза столь безумны, как перед казнью, что Куравлёв достал червонец и передал Шавкуте. Тот схватил деньги и кинулся к буфетной стойке.

— Подавал надежды, — произнес Макавин. — Тоже беглец. Убежал от государства в запой.

Между столиков двигался высокий чернобровый дагестанец Магомед Шамхалов. Он не числился в писателях, не был членом Союза, но почти каждый вечер проникал в ЦДЛ. Он не пил, как другие завсегдатаи Пёстрого зала, не принимал участия в спорах, а только тихо сидел в уголке. Вдруг вставал и начинал кружить среди столиков, наклонялся то к одному, то к другому. Что-то шептал. Дожидался ответа и тихо, как лунатик, отходил, продолжая кружить. Шамхалов обожал поэзию и философию “серебряного века”. Знал Бердяева, Франка, Шестова, отца Сергея Булгакова. Предлагал писателям купить у него ксерокопии изданий “Имка-пресс”. Он был сеятель, просветитель, но и кормился за счёт своих скромных распродаж. Он никогда не обсуждал содержание философских трактатов. Являл собой странный пример дагестанца, знакомого восхитительный “серебряный век” лучше любого русского.

Вот и теперь он совершал свои сонные круги среди галдящих пьяниц, тихий, терпеливый, готовый ждать, когда заблудшие души откроются истинному вероучению. Наклонился к Куравлёву и почти шёпотом произнёс:

— Есть Флоренский. “Религия — столп утверждения истины”. Есть стихи Кузмина.

— Спасибо, Магомет, я уже купил у тебя эти ксерокопии, — ответил Куравлёв, видя над собой чёрные внимательные глаза дагестанца.

— Эти копии очень хорошего качества. Вы можете их взять в переплёт и поставить в свой книжный шкаф.

— Спасибо, Магомет.

— Если бы вы имели доступ к ксероксу, мы бы могли делать копии с очень хороших книг.

— К сожалению, я не имею доступа.

— В следующий раз я предложу вам Набокова и Бердяева “Русский коммунизм”.

Он отошёл и продолжил кружение, похожий на тихую тень.

— Что доброго можно ждать из Дагестана? Гумилёва и Кузмина, а не только Расула Гамзатова, — сказал Макавин.

— Пока русские пьянствуют, националы прибирают к рукам русскую культуру, — заметила Наталья.

Одoleвая гам и гогот, раздался напев, похожий на слёзное причитание. Это поэт Николай Тряпкин, выпив водки, стал декламировать свои восхитительные стихи. Он заикался и потому не говорил, а пел. Так пели волхвы, чародеи, сказители, сидя на высоком кургане, откуда виднелись реки, леса и озёра. Сейчас Тряпкин пел балладу о гагаре, горюющей в пустом небе. “Летела гагара, — рыдал напев. — Летела гагара...” Глаза сказителя были закрыты, смотрели в глубину собственной души, обожающей и оплакивающей.

Среди гомонящего Пёстрого зала было немало женщин. Многие из них уже были пьяны и доступны. Время от времени мужчины вставали и уводили подвыпивших красоток, чтобы наутро их не вспомнить. Сюда приходили повесы и пропойцы, чтобы обзавестись на одну ночь подружкой, не слишком заботясь о её духовном содержании.

— Наш немецкий толстячок принимает дары угодливых славян. — Макавин кивнул в дальний угол зала, где восседал тучный, с рыжеватой щетиной на розовых щеках, приехавший из Западной Германии переводчик Саша Кемпфе. Он представлял издательство “Бертельсман”, которое вознамерилось издавать книги русских, не известных Западу писателей.

Кемпфе представлялся сыном военного атташе в довоенном посольстве Германии и русской актрисы. У него был хороший русский, достаточный вкус и добрый нрав. Он приезжал в Москву, собирал свежизданные книги, выбирал пригодные для перевода. Любитель поесть, он столовался в домах тех, кто вручал ему свои книги. Сначала вёл остроумную беседу, но по мере того, как наедался, впадал в спячку. Глядел остановившимися целлулоидными глазами и посапывал. Сейчас он приближался к черте, когда звуки мира для него замолкали, а глаза цвета бутылочного стекла останавливались и смотрели в пустоту.

— Пойду поразведая, что сообщит Кемпфе о “Шепчущих камнях”. Он был у меня на прошлой неделе и съел гору плова, страшно раздулся и уснул за столом. — Макавин, оставив Куравлёва и Петрову, стал пробираться к столу Кемпфе, уставленному множеством чашечек и тарелок с бутербродами.

— Витя, ты должен показать ему свои “Небесные подворотни”. Я опубликую рецензию и сама передам ему книгу.

— Ты ко мне очень добра, Натали, — рассеянно ответил Куравлёв.

На освободившееся место присел завсегдатай Пёстрого зала Карпович, приставленный Лубянской к московским писателям. У Карповича была лысая голова с остатками белых волос и большой грациный нос, который тянул вниз, отчего голова Карповича была слегка опущена и свёрнута на сторону.

— Можно к вам притулиться, ребятки?

— Всегда рады, — пригласил Куравлёв.

Карпович не был тайным агентом, внедрённым в интеллигентскую среду. Все хорошо знали о его службе на Лубянке. Да и он не скрывал. Любил посидеть в Пёстром зале, переходя от столика к столу. Хорошо выпивал. Был приветливый говорун. Его не боялись. Он вызывал симпатию своими

рассказами о том, как был внедрён в ряды Народно-трудового союза и жил под вымышленным именем в Германии и Финляндии. Шла “перестройка”, и на КГБ случались частые нападки. Карпович уже смотрелся не как карающий меч государства, а как общительный выпивоха.

— О чём я вас хотел попросить, дорогой Виктор Ильич. — Карпович со вкусом выпил водки. — Я написал роман о моём внедрении в Народно-трудовой союз. Описал всех отвратительных и циничных людей. Рассказываю об этой организации, о русской иммиграции “второй волны”. Но я не писатель. Не обладаю стилем, приёмами. Не могли бы вы, Виктор Ильич, прочитать рукопись и честно, по-товарищески указать на недостатки? И вообще, стоит ли её нести в издательство?

Куравлёву не хотелось брать на себя обузу, читать сырую рукопись очевидного графомана. Но реликтовая осторожность не позволила отказать офицеру Лубянки с таким смешным грациным носом.

— Конечно, приносите рукопись, я прочитаю.

— Вот спасибо! — Карпович снялся с места и пересел за отдалённый столик.

Куравлёв наблюдал за очередью, протянувшейся к буфетной стойке. Там стояла женщина, вдруг взволновавшая его. Это напоминало лёгкий порыв ветра в лицо. Казалось, женщина приблизилась, прильнула своим лицом к его лицу, своей грудью к его груди, совпала с ним, стала им. Это совпадение длилось мгновение и оставило ощущение моментального счастья.

Женщина стояла в очереди, порываясь уйти. Она оказалась здесь случайно, её ошеломяло шумное многолюдье. У неё было милое растерянное лицо, светлые коротко подстриженные волосы, открывавшие красивую белую шею, которая поднималась из ворота малинового платья. Оно было длиннее колен, но не скрывало стройности ног. Её глаза пугливо щурились, словно искали опасность. Свежие, чуть припухлые губы делали её юной и беспомощной. Она казалась незащищённой, чужой в этом безумном зале, куда попала, спасаясь от неведомой угрозы, и теперь боялась покинуть это ненадёжное убежище. Она не знала, что секунду назад её выхватили из очереди и перенесли в глубину чужой души.

— Куравлёв, что нам сидеть среди пьяниц? Поедем ко мне. — Наталья опять накрыла ладонью руку Куравлёва. — Я покажу тебе эфиопские миниатюры, написанные на коже. Представляешь, там святые, Богородица и сам Христос — все черного цвета. Все негры! — Она сжала пальцами руку Куравлёва так, что ему стало больно.

— Давно я не видел негров, — ответил Куравлёв и встал из-за стола.

Женщина у стойки уже получила долгожданную чашечку кофе, держала на весу, не находя свободного места в зале.

Куравлёв подошёл к ней:

— Здесь, к сожалению, вы не найдёте свободного места. Хотите, я провожу вас в бар? Там обычно бывают места.

— Я вам так признательна. — Она благодарно улыбнулась, и эта улыбка сделала её ещё привлекательней. Она была красива со своими белоснежными зубами, ямочкой на щеке, крохотной родинкой на шее, с глазами цвета прозрачного зеленоватого сердолика.

— Ступайте за мной.

Уходя из Пёстрого зала, Куравлёв заметил, как зло провожает его Петрова. Её козье, с большими ноздрями лицо потемнело от негодования. Она ненавидела его. Макавин покинул переводчика Кемпфе и вернулся, занял место рядом с критикессой.

Глава третья

В баре был мягкий сумрак. Теснились столики, среди которых один оказался не занят. Куравлёв усадил незнакомку, позволяя ей осмотреться.

За резной стойкой колдовала барменша Валентина, немолодая, с благородной голубой сединой; она священнодействовала, изготавливая популярный в ЦДЛ коктейль “Шампань Коблер”. Коктейль состоял из шампанского,

коньяка и вишнёвого сока. В него кидался кубик льда и ломтик лимона. Вишнёвого цвета стакан кипел пузырьками, мерцал льдинкой.

— Вы позволите, я закажу такой коктейль? — спросил Куравлёв.

— Да. Я не знаю. Если можно.

Скоро два высоких благоухающих стакана мерцали на столе. Куравлёв сделал глоток, ощутив неподобный вкус волшебного напитка.

— Меня зовут Виктор Куравлёв. А вас?

— Я — Светлана, — ответила женщина и, помедлив, добавила: — Пожарская.

— О, да вы из славного княжеского рода!

— Да нет, это фамилия мужа. Моя девичья фамилия Саврасова.

— Моя жена Куравлёва. А девичья фамилия — Печорина.

— Какие славные имена! И славные люди. — Светлана прикусила пластмассовую трубочку, сделала глоток. Глаза её сузились, в них исчезла зелень, губы сжались, тянули сладость коктейля. Куравлёв смотрел на её розовые пьющие губы, и ему хотелось их поцеловать.

— Вы писатель? — спросила Светлана.

— Что-то в этом роде.

— У меня не было знакомых писателей.

— Ну вот, появился первый. Вы пришли в ЦДЛ посмотреть на живого писателя? Вам повезло, у меня нет копыт и хвоста. А в Пёстром зале водятся копытные и хвостатые.

— Мне было любопытно посмотреть, как писатели проводят время. При входе сидят такие строгие старухи, с одинаковыми каменными лицами. Как ленинградские сфинксы.

— Ну вот, смотрите. Спрашивайте, если что-то вас заинтересует.

За одним столиком собралась компания, душой которой был писатель Домбрович, автор чудесной книги “Собиратель раритетов”. Он отсидел в лагерях, был в моде, в чести, но страдал русским недугом и напивался до “чёртиков”. Теперь же с худым, смуглым, как у мулата, лицом он двигал всеми своим морщинами, блестел вишнёвыми глазами и смешил окружавших его мужчин и женщин. Ему то и дело подносили коктейли, и он приближался к порогу, за которым с ним случалась буйная истерика.

— Юрий Домбрович изумительный стилист. В этом стиле мўка проведённых в неволе лет и ликование человека, обретшего долгожданную свободу. — Куравлёв произнёс эту выпренную фразу и смутился. — В нём ощущим надлом. Он похож на канатоходца, который вот-вот сорвётся с каната.

— Я всегда хотела понять, что заставляет человека писать романы. Почему человек становится писателем. Я и двух слов написать не сумею.

— Это особая болезнь, которой заболевает человек. Вы, к счастью, здоровы.

— А как вы стали писателем? Что вами движет?

Куравлёв хотел отшутиться, но её глаза, столь близко блестевшие, смотрели серьёзно. Ей это действительно было интересно. И Куравлёву вдруг захотелось ей поведать, что за странный позыв — создавать искусственный мир, который является искажённым отражением реального мира. Тем самым совершается насилие над подлинной жизнью, даже если в произведении художника эта жизнь обретает черты, ей недостающие. Он вспомнил библейское: “Дело рук художника ненавижу...”

— Я много ездил, кружил по России, по старым деревням, по заросшим погостам. Собирал народные песни, получал в дар домотканые полотенца с альми крестами и волшебными деревьями. Всё это было восхитительно и причиняло боль. Эта красота уходила, исчезала вместе с деревней, с крестьянскими хорами, мастерицами ткать и лепить из глины чудесные игрушки. Я описал скитания моего героя, который желал сохранить эту красоту, не дать ей погибнуть. Это и заставило написать первую, самую дорогую для меня книгу.

Куравлёв говорил всё это, и загадочным образом сидящая перед ним женщина, едва знакомая, чужая, сопровождала его в тех скитаниях. Пела вместе с ним бесконечные, как колесо, без начала и конца песни. Входила

в разорённые храмы с пустыми иконостасами, с лежащими под ногами драгоценными иконами. И не она ли пришла к нему тёплой ночью на берег Волги, по которой плыли теплоходы с пылающими отражениями в чёрной воде? Они лежали на жёстких, сгоревших от засухи травах. И она вдруг надвинулась, легла на него всем своим лёгким, с полынными запахами телом, и он задохнулся от её поцелуя.

— Вам было страшно, что умрёт красота? — сказала она.

Куравлёв не мог понять чары этого перевоплощения, как будто эта женщина принесла весть из прошлого. Существовала в его прошлом. Была его прошлым.

— Вторая моя книга посвящалась платоническому роману, который у меня случился с чудесной женщиной, редактором моей книги. Она была старше меня. Утверждала, что полюбила меня за мои повествования, за все эти песни о конях и орлах, за чёрные платки в алых розах, за тонкий золотой след, что оставляют сани на ледяной дороге. Мы мучили друг друга всё время, пока готовилась к выходу книга. А потом она исчезла, растворилась, перестала являться, умерла. И мне захотелось запечатлеть её, мои удивительные переживания. — Куравлёв произнёс это, и опять образ той исчезнувшей женщины слился с образом этой. Она влеталась в его книги, в его сны, влеталась в его жизнь.

— Я не знаю, что такое платонический роман. У меня были девичьи влюблённости, но потом возникло сильное чувство, и эти ранние влюблённости были предвестницами любви.

— Любви к мужу?

— Да.

— Так почему вы не с ним? Почему одна?

— Он офицер. Воюет в Афганистане. Не знаю, в какой провинции. В письмах не пишет о военных делах. Только нравы, природа. Какая-то пустыня красного марсианского цвета. Идущие по пустыне караваны верблюдов. Шумные рынки в городах. Горы яшмы и лазурита на прилавках. Не знаю, чем он там занимается. Он военный разведчик. Уже отвыкла от него. Все одна да одна.

— Хочу в Афганистан. Хочу написать о войне.

— Значит, я снова останусь одна, — засмеялась Светлана.

За соседним столиком раздался звон стекла, истошный крик. Вскочивший с места Домбрович швырнул в стену ещё один стакан с недопитым коктейлем:

— Ты — сталинская сволочь! Сталинский вертухай! Сексот! Ненавижу! — Домбрович напоминал смертельно раненного зайца, который кричит, как ребёнок, и при этом скалит резцы. — Такие, как ты, сука, клали нас “под железо”! — Он махал руками, отбиваясь от друзей, которые увещевали его:

— Юрий Маркович, вы не так поняли! Я пошутил. Мы все вас любим. Вы великий русский писатель! Ничего лучшего, чем “Собиратель раритетов”, не читал. Поезжайте домой, Юрий Маркович. Мы вызвали такси!

— Вы сталинские живодёры! Буду вас грызть зубами! Стреляй, на, стреляй! — он рвал на себе рубаху, обнажая впалую, с седыми волосками грудь. Барменша Валя с ужасом кричала:

— Заберите, заберите его! Он всю посуду переколотит! Вы обязаны заплатить!

— Ненавижу! Всех, как собак! Все сексоты! Подсадные суки! Не верю! — истерика Домбровича продолжалась, его ярость была разрушительна для него самого. — Не верю тебе, мразь сталинская, мясник! Вот ему верю! — Он вдруг увидел Куравлёва, и безумные, крутящиеся глаза воззрились на него. — Тебе верю! Все кругом вертухай! Ты — нет!

Куравлёв был едва знаком с Домбровичем, и тот вряд ли в своём помрачении узнал его. Но в этом помрачении он принял Куравлёва за светлое, спасительное существо и устремился к нему.

— Виктор Ильич, умоляем! Посадите Юрия Марковича в такси! Отправьте его домой, в Сокольники!

— Да, да! — умоляла барменша с синими волосами. — Домой его!

Куравлёв колебался, глядя на несчастного разъярённого человека, который тратил в припадке последние силы и был готов упасть.

— Извините. — Куравлёв обратился к Светлане, которая смотрела испуганно, но и с острым интересом на это болезненное зрелище. — Я вас ненадолго оставлю. Скоро вернусь!

Он обнял Домбровича, повлёк его тощее тело в вестибюль, чувствуя, как Домбрович дрожит, словно рыдает, издаёт предсмертный свист.

— Сексоты! Сталинекие овчарки!

Куравлёв нашёл в кармане Домбровича номерок. С помощью гардеробщика надел на него худое пальто, обмотал тощую шею шарфом. Шапка пропала, и таким, без шапки, не стоящего на ногах, Куравлёв вывел Домбровича на улицу, в морозящий холод. Такси стояло с погашенным огоньком. Таксист недовольно смотрел на опьяневшего пассажира.

— Садитесь, Юрий Маркович, вам ведь в Сокольники? Скажите водителю адрес. — Куравлёв подвёл Домбровича к машине, стал открывать дверцу. Домбрович упирался, вырывался. Посмотрел на Куравлёва, вскинул бровь:

— Узнаю тебя! Ты сексот! Гебистская сволочь! Уходи!

— Юрий Маркович, это я, Куравлёв. Умоляю, садитесь в машину.

— Уйди прочь, сексот! — Домбрович норовил убежать, рвался на проезжую часть, где летели машины. Куравлёв не знал, что делать. Мимо шёл милиционер. После дежурства торопился домой. Хотел бочком пройти мимо скандалиста. Куравлёв остановил его:

— Прошу, помогите! — Куравлёв схватил милиционера за рукав. — Это большой писатель! Всесоюзная величина! Помогите усадить в машину!

— Я не на дежурстве! Пусть его везут в вырезвитель!

— Подойдите к нему и скажите: “Гражданин Домбрович, в машину”!

Милиционер вернулся туда, где раскачивался Домбрович, что-то выкрикивая в холодную пустоту, где ему мерещились ужасные призраки.

— Гражданин Домбрович, в машину пошёл!

Домбрович словно увял. Увидел форму, милицейскую фуражку. Услышал рыкающий приказ. Что-то замкнуло в нём. Он послушно завёл руки за спину и сутулясь пошёл к машине. Куравлёв помог ему сесть.

— Вот, командир, деньги. Отвези пассажира в Сокольники.

Машина ушла, а Куравлёв чувствовал, что совершил низость. Сыграл на реликтовом страхе измученного человека. Вернулся в ЦДЛ. Опустился измождённо за столик, где ждала его Светлана.

— На чём мы остановились? — спросил он устало.

— Какой несчастный, больной человек! Он так страдался! Ему нужна ласка, тепло, терпеливая женская любовь.

Куравлёва изумило это глубокое сострадание, и тем более он почувствовал совершённую низость.

— Ну что ж, мне пора, — сказала Светлана. — Я здесь всего насмотрелась.

— Я вас провожу.

— У вас роль всех провожать?

— Не хочу расставаться!

Они вышли из ЦДЛ. На ней было пальто с большими костяными пуговицами, лёгкий шёлковый платок прикрывал шею, маленькая шапочка, чуть скрывавшая волосы. Сырая московская темень дышала предзимним холодом. Туманно моросило. Вокруг фонарей расплывались радужные кольца. Высотное здание на площади Восстания казалось туманной поднебесной горой с мутно желтеющими окнами. Автомобили пролетали, отражаясь в мокром асфальте.

Они вышли на Садовую, пытаясь поймать такси. Светлана прижалась к нему, словно хотела спрятаться от холодной сырости.

— Не люблю это московское время. Испытываю тоску, беспокойство, словно впереди какая-то потеря. Я выросла в Крыму. Солнце, синее небо, чудное море. Даже зимой нет печальных дней. Я здесь тоскую по Крыму.

— А я люблю эту темень, мглу, чёрную землю. Зато потом — первый снег, белизна, ожидание Нового года. Будто жизнь начинается заново.

— Мы разные.

Налетал зелёный огонек такси. Куравлёв поднял руку.

— Куда? — спросил водитель, когда они сели на заднее сиденье.

— “Академическая”, — сказала она. — Я покажу.

Они сидели близко друг к другу. При поворотах машины её плечо давило на него, и он старался продлить это тесное касание. Ему казалось, что этот полёт по Москве уже был прежде, длился долгие годы. Что-то случилось со временем. Оно замедлилось, почти остановилось, перестало длиться. Это было, как сон с открытыми глазами.

Американское посольство проплыло мутным желтком. Провиантские склады были нарисованы мокрым мелом. Крымский мост выгнул стальной позвоночник, но сразу ушёл влево. Машина круто свернула на проспект, и женское плечо плотно коснулось его. Он старался продлить чудесное прикосновение. Она отклонилась, но его плечо продолжало ждать нового прикосновения.

Храм “Николы в Хамовниках” нарисовался, как детский рисунок. Дворец Союза писателей пылал античными колоннами. Сон наяву продолжался, и в этом сне возникла чёрная река и за ней похожая на туманную луну арена Лужников.

Снова поворот машины. Теперь качнуло его, он прижался к ней, и пока длился поворот, мысленно её обнимал, и это было объятие во сне. Они въехали в арку большого дома. Остановились у подъезда. Молча поднимались в лифте. Она опустила глаза и улыбалась.

Они вошли в квартиру. Он помог ей снять пальто, но путался с вешалкой. Она отобрала пальто и повесила в шкаф.

— Что же вы, раздевайтесь. Теперь мой черёд вас угощать.

Она показала ему квартиру. Кухня с плитой и деревянной тарелкой на стене. Просторная гостиная с диваном, креслами и мягким ковром на полу. У стены стояла высокая ваза с нарисованными синими быками. Куравлёв подумал, что ваза стоит неудобно, и её можно разбить. Кабинет, в котором давно не появлялся хозяин, с пустым, без бумаг, столом, с фотографией молодого мужчины в офицерской форме, того, кто воюет в Афганистане. Открытая дверь в спальню, где широкая кровать застелена китайским шёлковым покрывалом с драконами.

Он смотрел на всё это. На фотографию офицера, на кровать с драконами, на вазу с синими быками. Испытывал мучительную неловкость. Бесчестно переступив порог дома, где отсутствует хозяин, воровски прокрался в его обитель.

— Наверное, я пойду. Поздно. Вам пора отдыхать.

— Я знаю, что вас смущает. — Она вошла в кабинет и убрала фотографию. — Ему давно пора спать. Садитесь.

Она усадила его на диван и исчезла в ванной. Через минуту явилась. Теперь на ней была короткая юбка и лёгкая блузка. Ноги голые, в маленьких, усыпанных бисером тапочках.

— Хотите, я потанцую?

Она ударила клавишу стоящего на тумбочке кассетника. Хлынула музыка, сладостная, печальная, тягучая, как мёд. Светлана сбросила бисерные тапочки, приподнялась на гибких пальцах. Как ложатся на морскую волну, поймала всплеск музыки. Её подхватило, понесло, закружило. Казалось, воздух, в котором она танцевала, становился густым, плотным, и она разрезала его руками, пролетала сквозь прозрачное облако. Пространство, в котором волновались её руки, мелькали голые ноги, становилось безвоздушным, и она скользила в пустоте, не касаясь стопами ковра. Она подлетела к вазе с синими быками. Куравлёв испугался, что ваза разобьётся. Но Светлана замерла на лету, поводила рукой по спинам быков и отлетела.

Куравлёв с обожанием смотрел на её закрытые глаза и туманную улыбку. Видел, как пальцы ног погружаются в мягкий рисунок ковра, и она взлетает и одно мгновение висит, не испытывая притяжения, и снова пальцы ног мнут ковровый узор.

Куравлёву хотелось целовать её гибкие, мнущие ковёр пальцы. Целовать закрытые глаза и губы, которые улыбались, как в сладком сне. Он молил, чтобы она не пробуждалась. Вдруг подумал, она танцует не для него, а для того офицера, что находится на краю безвестной пустыни.

Кружась, она растегнула блузку, кинула прочь. Куравлёв следил за полётом блузки, а потом увидел её маленькие груди, ключицы, колыхание шеи, кружение живота. А когда она, перелетая с волны на волну, повернулась спиной, он увидел подвижные лопатки и струящуюся волнистую линию от затылка вдоль спины, пропадающую за кромкой юбки. Туда, где волновались её бедра.

Не поднимаясь с дивана, он протянул к ней руки. Не раскрывая глаза, она угадала его движение. Приблизилась и встала. Он почувствовал жар её тела. Обнял, услышал стук сердца, дрожание каждой жилки.

— Чудо моё!

Он целовал близкий дышащий живот, маленькие прелестные груди.

— Чудо моё! — повторял он.

— Подожди... — Она освободилась от его объятий. Подошла к вазе с быками и, усмехаясь, сказала: “Синий бык, синий бык, я к тебе уже привык”.

— Что? — не расслышал Куравлёв.

— Ничего, — сказала она. Пошла по квартире, повсюду выключая свет.

Он слышал шорох срываемого с постели покрывала. Казалось, уловил лёгкий ветер от пролетевшего шёлка.

— Иди сюда, — позвала из темноты.

Она толкнула его в постель. Он пугался её неуголимости, грубой страсти. Когда она нависала над ним, видел светящиеся, как у лесного зверя, глаза, которые смотрели мимо. Она не замечала его, не замечала, что делает ему больно. Она кусала свои губы, что-то невнятно говорила. Ему показалось, что она произнесла имя “Андрей”. Она целовала не его, а другого, того, кто воевал в пустыне. Но от этого он ещё больше её желал. Терпел, когда её ногти рассекали ему плечи.

Она упала рядом, рухнула, будто её подстрелили. Лежала, не касаясь его, громко дышала. Постепенно её дыхание успокоилось. Она обняла его.

— Прости меня. Я очень долго была одна.

Он уходил от неё поздней ночью, ошеломлённый, слыша не умолкавшую в нём тягучую, как мёд, музыку.

Глава четвёртая

Глубокой ночью Куравлёв вернулся домой в свою трёхкомнатную квартиру в Текстильщиках. По дороге он мучился, придумывал ложь, которой станет объяснять жене позднее возвращение.

Жена Вера встретила его в прихожей, в халате, с неприбранными волосами. Она не ложилась, поджидала его. Куравлёв, изображая усталость, раскаяние, обнял жену, боясь, что запах его одежды, волос, и этот торопливый, лживый рассказ выдаст его.

— Почему так поздно, Витя? Я волновалась.

— Как я устал, Вера, от этих дружеских встреч и попок! Нелегко отмечать выход книги. То с редактором, то с рецензентом, а сегодня с друзьями. Этот Марк Святогоров — такая странная фигура. Сам ничего не пишет, но такое влияние.

— Почему же так поздно?

— Сначала в ЦДЛ ужин в Дубовом зале. Не хотелось расставаться. Перешли в Пёстрый зал. Там опять Шамхалов предлагал ксерокопии. Тряпкин пел свои притчи. Показалось мало. В бар. А оттуда Святогоров повёз нас к себе. Прекрасная квартира в высотке на Котельнической набережной. Ходят слухи, что он тесно связан с КГБ. Иначе откуда такое влияние? Писатели перед ним заискивают.

— Неужели нельзя было позвонить? Я места не находила.

— Замотался, заговорился. А потом решил, зачем тебя будить. Извини!

Они сидели на кухне, и Куравлёву казалось, что жена поверила его лжи. Он преодолел самое мучительное в разговоре с ней. Она больше не станет расспрашивать, не заметит его неправды.

Она сидела перед ним на кухне, простоволосая, в поношенном халате. Её лицо расставалось с последней красотой, от которой оставались прекрасные печальные глаза. Куравлёву сделалось невыносимо горько от беззащитного, оленьего взгляда этих карих любимых глаз.

— Как сыновья? Олежка выздоровел?

— Он такой слабый. Пошёл в школу. Какая-то олимпиада по математике.

— А Степан? Как мало я ими занимаюсь. Что там у них на уме?

— Степа не пошёл в институт, а пошёл на демонстрацию. Какой-то профессор, кажется, по истории, рассказывает им об ужасах сталинских лагерей. Читает им Солженицына. Боюсь, его исключат. А тогда в армию, в Афганистан!

У жены задрожали губы. Её мучил кошмар, когда она представляла, что старшему сыну Степану грозит оказаться в неведомой, ужасной стране, о которой каждый вечер показывают бравые репортажи. Горят на трассах грузовики. Солдаты в панاماх с автоматами уходят в горы. А оттуда, как бы это ни скрывалось, идут гробы, и её Стёпушка, её милый мальчик лежит в этом цинковом запаянном гробу.

— Послушай, Витя, я хотела тебя просить. Стёпа, скорее всего, вылетит из института. Ну, не хочет он учиться в автодорожном, не может! И тогда случится ужасное. Военкомат, армия, Афганистан. И там его убьют. Я знаю, я чувствую: убьют! Вижу, как он лежит, истекая кровью! Вижу, как его мёртвого кладут в это ужасное цинковое корыто и переносят по небу к нам. И мы встречаем нашего Стёпушку, нашего мальчика!

Жена закусил губу и дрожала плечами, издавая всхлипы, готовая рыдаться. Куравлёву было невыносимо смотреть на её постаревшее, несчастное, когда-то прекрасное лицо, которое он по-прежнему любил.

— Ну, подожди! Ну, не надо! Степа закончит институт. Я с ним поговорю. Я же отговаривал его идти в автодорожный! “Нет, люблю автомобили!”

— Не окончит, я вижу! Он не выпутается из своих хвостов! Обещай мне, Витя!

— Что обещать, дорогая?

— Обещай, что пойдёшь в военкомат, поговоришь с их главным начальником. Скажешь, что у Стёпы плоскостопие, он не может бегать по горам. Скажешь, что он не выносит тот климат, у него астма. Придумаем что-нибудь. Пусть его направят хоть на Северный полюс, хоть на Камчатку! Ты меня слышишь?

— Я слышу, слышу. Но как я скажу? Там есть врачебная комиссия. Она определяет болезни. Стёпа, слава Богу, здоров.

— Не слава, не слава Богу! К несчастью, к несчастью! Ты пойдёшь, ты влиятельный человек, ты писатель. Писателей уважают! Тебя послушают!

— Да нет же, Вера. Я не Шолохов. Меня не послушают!

— Дай им денег! Они берут деньги. Снимем всё с книжки. Я продам кольцо, кольца. Моё колечко с бриллиантом! Они возьмут. Только бы Стёпушка был живой!

Она стенала, она билась. Она расшибалась о каменную стену, не в силах её пробить. Она звала его на помощь, а он, бессильный, не умел ей помочь.

— Ты знаешь, мой отец погиб под Сталинградом. Он был профессор истории, имел бронь, уберегавшую его от фронта. Знаешь, что он сказал маме? Он сказал: “Когда я иду по улице и вижу новобранцев, которые едут на фронт, я стораю от стыда. Не могу воспользоваться бронью. Я должен идти на фронт. Хотя, скорее всего, меня убьют”. И он ушёл добровольцем. Могу ли я спасти сына от Афганистана? Значит, кто-то другой, какой-нибудь деревенский парень пойдёт вместо него. Ты понимаешь?

— Ты изверг! Чудовище! Тебе не дороги твои дети! Не дорога я! Занят своими фантазиями, своими книгами. Но твои книги никого не спасут,

не сделают счастливыми! Ты ради своих книг готов поставить под пули сына!

В её глазах, всегда тихих, любящих и любимых, горело безумие. Она кричала на него, била его в грудь кулаками, рыдала. И вдруг утихла. Сникла, ссутулилась, руки упали. Он обнял её, не давая упасть. Прижал к себе. Гладил её голову, где в тёмных нечёсанных волосах тянулись серебряные волокна. И так они сидели в ночи, обнявшись. И он не понимал мира, в котором жил. Не понимал, как жить ему в этом мире. Как уберечь родных и любимых от страшных напастей, которые непременно настанут. И вдруг, как наваждение, явилась танцовщица, её гибкие голые пальцы, погружённые в мягкий узор ковра. И он почувствовал к себе отвращение. За один только вечер он совершил три постыдных деяния. Усадил Домбровича в машину, напомнив ему, что он жалкий беспомощный зек. Прокрался в дом, хозяин которого сражался на войне, а он украл у него жену. И теперь лгал Веру, гнусно обманывал.

Стыдясь, горюя, испытывая к себе отвращение, Куравлёв обнимал Веру, гладил её голову, не имея сил её утешить.

— А ты помнишь? — тихо спросила жена.

— Что, родная?

— Помнишь наше свадебное путешествие?

— Свадебное? — переспросил Куравлёв, радуясь, что жена оживает, пусть голос её ещё слаб и тих.

— Мы поженились и раздумывали, куда отправиться в свадебное путешествие. Ты только что прочитал книгу Юрия Казакова “Белое и голубое”. Его дивные рассказы о поморах и Белом море. И мы поехали в Карелию на Белое море.

— Чудесная была поездка.

— Мы сошли ночью с поезда на каком-то полустанке. Забыла его название.

— То ли Кузомень, то ли Кузёма.

— Мы сошли в темноте, только двое, и двинулись по дороге, не зная, куда идём. Ты помнишь?

— Помню.

Он вдруг ясно вспомнил тот безлюдный полустанок, без фонаря, без станционной постройки. Только жёлтый фонарь проводницы, лягз тронувшегося поезда, убежавшее отражение на рельсах хвостовых огней.

— Мы шли с тобой в темноте, сами не знали куда, и мне казалось, что впереди у нас наша жизнь, ещё не познанная, полная неизвестности. Вся наша судьба. Помнишь?

Он помнил, как они шли по ночной дороге, начинало светать, плыли туманы, ему казалось, что они сбились с пути и не будет никакого моря. И вдруг на рассвете они оказались на зелёном лугу, на котором паслись кони — белый, красный и чёрный. И она сказала: “Как три коня апокалипсиса. Сейчас они кроткие и прекрасные. Но настанет час, и они превратятся в бурю”. Траву у самых ног коней заливала вода, мелкая, прозрачная. Ему захотелось пить. Он зачерпнул пригоршней, сделал глоток. Солёная! Боже, да это море!

— Ты помнишь, как мы вышли к деревне. Это была Паньгома. Наш подарок к свадьбе! Паньгома, Паньгома, волшебное слово!

Перед самым восходом они вышли к морю. Перламутровое, бирюзовое, с млечной белизной, с розовыми кудрявыми тучками в синем небе, море восхитило их своей бескрайней ширию. Перед ними текла река, впадала в море, бурлила на камнях, на розовых валунах. На другой стороне темнела деревня. Большие избы вкось и вкривь, плотно вросли в крутой берег. В стёклах уже сверкало солнце. К реке сбегали маленькие тёмные баньки. И весь берег был уставлен лодками. Нос на зелёной траве, а корма чуть касались воды. Лодки казались морскими существами, вылезшими из воды и отдохавшими на берегу.

По камням, перепрыгивая с валуна на валун, они перешли реку. Деревня тихо спала. И над крышами пролетела чайка, серебряная, с жёлтым клювом, оглядела их тёмным глазком.

— А помнишь, как звали карелку, у которой мы поселились?

— Забыл.

— Настя.

— Ах да, Настя!

Карелка Настя была сухая, быстрая, с коричневым от морского солнца лицом и синими глазами, цветом с которыми могли сравниться только васильки. Руки у неё были натёрты веслами, бечевой, бесконечными трудами по дому, на огороде, на рыбных ловах. Она слегка коверкала русский и, потешаясь над собой, рассказывала, как бабка уговаривала её хорошо учиться. Наставляла; “Учись, учись, Настя. Поедешь у Москву, ветлетишь товалися Сталина. Скажешь: “Здластуй товалися Сталина. Явился Настя”.

У неё не было двух передних зубов, но оставалась бабья игривость. Посмеивалась, водила бедром, бедово зыркала синими глазами.

— Видно, в молодости она была красавицей. Но вот судьба! Муж утонул в море, сын разбился на камнях. Но она выстаивает, трудится, горюет, но не подаёт виду.

Они с Верой поселились на сеновале, бросив на сено красное стёганое одеяло. Ночи стояли короткие, дни бесконечно долгие. Какими восхитительными были эти бессонные ночи! Как неутолимы они были! Сколько восхитительных переживаний дарил им этот старый сеновал с шаткой лестницей, под которой стояла бочка с мочёной морошкой. Вера, голая, спускалась по дрожащей лестнице, черпала кружкой морошку и приносила ему, они ели сладкую ягоду, обливались соком и тихо смеялись.

Они гуляли по пустынному берегу, на котором лежали огромные маслянистые листья морской капусты. Летали крикливые красноносики, пищали чайки, пикируя, раскрыв острые злые клювы, низко над морем летела гагара, и однажды пролетел божественный лебедь, шумя крыльями.

— Ты был прекрасен. Я так любила тебя! Мы хотели остаться здесь навсегда и стать поморами, помнишь?

Они отправились в морское путешествие на лодке, которой управляла Настя. Она сидела на корме, где рокотал мотор, и длинный расходящийся клин пены тянулся за лодкой. Они причалили к острову, и трава с полевыми цветами казалась изумрудной под низким солнцем, висящим над морем. Лучи зажигали каждую травинку, каждый цветок. В каменной лунке скопилось дождевая вода. Он шил эту воду, опустив в неё губы, чувствуя сладость. Он запомнил этот чудесный водопад среди бирюзового моря, сверкающих трав и цветов.

— А олени? Ты помнишь оленей?

Он помнил оленей. Лодка шла в протоке между двух островов, и по синей воде плыли олени, олениха-мать и следом малый телёнок. Волшебное зрелище. Олениха, слыша стук мотора, оглянулась на лодку умоляющими глазами. И он подумал, что их глаза, оленя и Веры, похожи своей умоляющей женственностью. Настя заглушила мотор. Лодка тихо покачивалась, и они смотрели, как олени переплыли протоку, нащупали дно и встали, блестя, как стекло. Растворились среди трав и деревьев.

— А какие там были рыбы! Огромные, как зеркала! Мне было страшно на них смотреть.

Тяжёлый карбас, увязший в песке, сталкивают на воду. Рыбаки вскакивают и гробут в мелкой волне, туда, где в бирюзе трепещет белая гирлянда поплавок, как присевшая стайка чаек. Рыбак в сапогах суёт в море багор, нащупывает в глубине бечеву и тянет наверх, пока из моря, как огромный дракон, в кольцах, в хлопках, не появятся огромные колёса, оплётённые сетью. Выкатываются в карбас, отекают водой, в ячее блестит солнце, висят волокна водорослей. Дракон являет свою клетчатую спину и вновь погружается в море. Из глубины приближается свет. Огромный серебряный взрыв сотрясает море. Блеск, грохот. Рыбаки тянут в карбас этот громадный сияющий стукот. Рыбины выкальзывают в карбас, льются, как расплавленное серебро, заливают ноги рыбаков. Бьются, встают на голову, хлещут хвостами, шлёпают красными жабрами, открывают злые рты. Рыбак деревянной колотушкой бьёт рыбин по головам, пока не хлынет из жабер алая кровь.

Оглушённые рыбы, сверкающие, как зеркала, лежат на дне карбаса. То одна, то другая поднимет хвост, смотрит на солнце ослепшим глазом.

— Наша дивная жизнь в Паньгоме. Та короткая белая ночь. Красное одеяло на сене. Ты смотришь на меня своими карими золотыми глазами, и я чувствую к тебе такую любовь, такое обожание, такую веру в тебя, в наше будущее. Этой ночью я зачала Стёпушку. Я это узнала по чудесной теплоте, которая меня наполнила, по биению сердца, которое сказало мне, что я уже иная, что во мне зарождается жизнь. В нашем Стёпушке волшебным образом отразилось бирюзовое море, лунка в розовом граните с дождевой водой, плывущие по синей воде олени, летящий серебряный лебедь, и тот сверкающий взрыв, когда из моря вырвались огромные рыбыны, и я чувствовала шлепки их хвостов. Всё это живёт в нашем первенце, в нашем Стёпушке.

Лицо жены было умиленным и прекрасным. Куравлёв целовал её брови, уголки её губ. Смотрел, как она уходит из кухни в своём домашнем халате. А он остался сидеть под ночным абажуром.

Глава пятая

Утром Куравлёв проснулся поздно, когда дети ушли учиться, Олег — в школу, а Степан — в институт. Не было и жены, видно, отправилась в универсам за покупками. Куравлёв оставался один в своей трёхкомнатной квартире в Текстильщиках. Самая маленькая комната служила ему кабинетом. Другую, что была попросторнее, занимали сыновья, теснясь в узком пространстве. Там стояли две их кровати, два стола, и проходила незримая черта, разделяющая их тесное жилище на две половины. Третья комната служила гостиной, где принимали нечастых гостей, праздновали Новый год и дни рождения. Гостиная считалась комнатой жены Веры, хотя в ней не было туалетного столика со множеством флакончиков и баночек с кремом. Не было и зеркала, в котором так нуждаются женщины и отсутствие которого было укором Куравлёву, не умеющему создать жене достойное существование.

Он любил свой маленький кабинет, любил простой стол и диванчик, на котором можно вздремнуть или помечтать, затворив дверь, чтобы не слышать голоса домочадцев. Над столом висели три иконы. Спас, обнаруженный им в северной деревне Лядины. Иконой заколотили окно церкви, где размещался склад удобрений. Никола, обгорелый со всех сторон; из чёрных углей смотрело лобастое спокойное лицо и переты, похожие на гибкие стебли. Эту икону Куравлёв обрёл на Киж-горе, под Каргополом, в рассыпанной на гнилые бревна церкви, поднял из костровища, где рыбаки варили уху. И третья икона — Казанской Божьей Матери — была получена в подарок от священника, который крестил его в бедной церкви в селе Тёсово, что под Вязьмой. Все три иконы смотрели на него с благодарностью, и он иногда думал, что спасение икон зачтётся ему, когда на Суде станут взвешивать его грехи и благие деянья.

За стеклом над диванчиком висела длинная кудрявая, как жабо, беломорская водоросль. Напоминала о Паньгоме, истошно кричащих красноносиках, о карелке Насте, направлявшей ладью в бирюзовое море.

На столе красовалась маленькая коллекция деревянных лошадок, красных, золотистых и чёрных, покрытых лазоревыми цветами. Он купил их у мастера в селе Полхов Майдан под Горьким, где люд промышлял изготовлением игрушек, — цветастых матрёшек, птиц и лошадок. Он помнил, как забрёл на сельское кладбище. Там стояли громадные, выше человеческого роста, кресты, и на одном вырезано: “Мы уже дома, а вы ещё в гостях засились”. Когда он привёз лошадок домой и высыпал перед Олешкой, у которого прорезались два зуба, тот схватил красную лошадку и попробовал её на зубок. До сих пор осталась малая вмятинка.

Рядом с лошадками лежала стальная лопатка турбины, похожая на драгоценный лепесток. Ему подарили её на авиационном заводе, где строились перехватчики.

Эти фетиши создавали вокруг Куравлёва прозрачную непроницаемую завесу, позволявшую скрываться в часы работы от внешней суеты.

Посредине стола стояла печатная машинка, портативная, чёрная, с серебряной надписью: “Рейнметалл”. Этот хрупкий стрекочущий механизм был создан до войны искусным немецким мастером. На нём стрекотал какой-нибудь кропотливый немецкий бухгалтер. В войну, быть может, машинку использовали в немецком военном штабе, печатая боевые приказы. Потом она попала в руки победителей, и комендант немецкого городка одним пальцем набивал интендантские сводки. Переходя из рук в руки, машинка досталась Куравлёву, который купил её в комиссионном магазине. На ней он печатал свои первые рассказы и повести. На чёрном резиновом валике, куда ложился лист бумаги и ударяли стальные буквы, таились все его литературные труды, и если добыть отпечатки этих стрекочущих букв, то можно извлечь все его писания, в том числе и неудачные, уничтоженные, и не удивляйтесь, если вдруг в описание любовной сцены ворвутся строчки из немецкого боевого приказа.

Машинка была его драгоценным оружием, и он относился к ней с благоговением. Куравлёв нежно нажал чёрную клавишу. Палец почувствовал тихий стук металлической буквы, как попадание пули. Куравлёв, окружённый невидимой сферой, хотел воспользоваться тишиной, чтобы уловить таинственные знамения, предвещавшие творчество. После написания “Небесных поворотов” он был опустошён. Иссякло творчество. В мире не возник повод сесть за новую книгу. Не было зачатия. Его лоно, разродившись, теперь пустовало.

Куравлёв не в первый раз испытывал эту таинственную череду превращений. Сначала бессмысленный хаос случайных переживаний, встреч. Шум, какой царит в гулком зале, где все голоса сливаются, и нет главного голоса, который произносит нежданное вещее слово. Потом, если долго слушать, терпеливо ждать, не стремиться отыскать этот голос среди какофонии звуков, голос, наконец, прозвучит. Нет, не слово, а предчувствие слова. Не звезда, а туманность. И ты носишь в себе этот зыбкий туман, страшаешься, чтобы он не рассеялся. Но он не исчезает, сгущается, и в этом тумане, в этой мгле вдруг сверкнёт свет, ещё и ещё. Замысел себя обнаружит. Не ты его нашёл и придумал, а он навеян извне, принесён таинственным ветром, как пернатое семя одуванчика. Этот замысел превращается в мысль, его можно высказать словом. И уже всё многообразие мира, казавшееся хаосом, подчиняется замыслу, втекает в него, и каждый звук, каждая встреча, каждое, вчера ещё раздражавшее событие вливается в замысел. Питает его, и уже видны герои, видны их судьбы, их метания и свершения. И всё это зовётся сюжетом, и ты садишься перед печатной машинкой, долго глядишь на пустой белый лист, словно прицеливаешься, и бьёшь в него метким ударом!..

Зазвонил телефон. Куравлёв снял трубку. Говорил Марк Святогоров:

— Витя, ну вот, получено приглашение. Андрей Моисеевич нас ждёт. Не исключено, что подойдёт Лазарь Семёнович. Он тоже на “Аэропорте”. Готовься к смотринам.

— Мне как-нибудь по-особому одеться? Может, камзол, шитый серебром? Рубашка с жабо?

— Не шути, это очень серьёзно. По сути, тебя второй раз принимают в Союз писателей. Только в высшую лигу. На тебе поставят знак качества, и тебя станут принимать в высших литературных кругах, в том числе и заграничных.

— Ты хочешь сказать, что мне позволят ездить в Париж, как Евтушенке?

— И в Париж, и в Лондон, и в Вашингтон. Не опаздывай, жду у выхода из метро “Аэропорт”. В семь часов. Сегодня я тебе, завтра ты мне.

Визит и в самом деле был важен. Там, на “Аэропорте”, находились развилки, которые могли направить писательскую судьбу по магистральной дороге или перевести её на второстепенный просёлок, а то и вовсе в тупик. Куравлёв волновался. Мысленно репетировал встречу.

До семи вечера оставалось время, и Куравлёв решил отправиться на Пушкинскую площадь, к редакции “Московских новостей”, которые внезапно стали самой популярной газетой “перестройки”. У газетных витрин со

свежим выпуском газеты с утра собиралась толпа. Обсуждали номер, спорили, вели нескончаемые диспуты до хрипоты, до изнеможения, до драки. Куравлёв хотел погрузиться в это толпище, полагая, что, быть может, там прозвучит заветное слово, возникнет завязь нового романа.

Он приехал на Пушкинскую, некоторое время стоял под круглыми часами на фонарном столбе. У здания “Московских новостей” темнел, шевелился народ, напоминал роящихся пчёл. Люди подлетали, погружались в толпу, вносили в неё свои страсти и страхи. Другие с ношей добытых знаний оставляли рой, несли по Москве обретенные истины.

Часть роя переместилась к памятнику Пушкину, облепила его. Клубилась по другую сторону улицы Горького в сквере с фонтаном.

Он вдруг вспомнил, как в детстве мама, держа его за руку, хотела перейти улицу Горького, и на неё набросился гневный постовой с полосатой палкой. Грубо накричал на них: “Какого чёрта суёшься!” Мама в страхе отпрянула. По улице, как в пустоте, пронеслась легковая машина. Сквозь стекло он увидел лобастое, желтоватого цвета лицо. Это был Молотов, такой же, как на портретах, которые носили над собой демонстранты.

Теперь Куравлёв вдруг вспомнил этот давнишний случай, и испытал неистезнующую обиду, нанесённую маме тем безвестным постовым.

Куравлёв кружил в толпе, обжигаясь в мимолетных столкновениях с яростными спорщиками, с их страстью, торжеством и ненавистью. Два старика, с одинаковыми носами в красных склеротических крапинах, насакивали друг, на друга, как петухи.

— Не смей трогать Сталина! Мы с его именем в немецкие окопы врывались, сапёрными лопатками рубились! А ты в это время в Ташкенте булки жевал!

— Баланду я жевал в это время! Меня твой Сталин баландой кормил, и мы все ему смерти желали! Прибрал его чёрт!

— Не смей! Не смей, говорю!

Другая пара в добротных пальто с меховыми воротниками вела дискуссию по-профессорски деликатно:

— Мне кажется, что лучший исход — это постепенно перейти от коммунистической доктрины к социал-демократии. Это и есть европейский путь.

— Нет, друг мой. Надо знать русский народ. Ему либо царя подавай с кнутом и плахой, либо Емельку Пугачёва, тоже с кнутом и плахой. А иначе нельзя!

Немолодая женщина с горящими глазами, чёрными, с сединой, волосами, захлёбываясь, говорила мужчине с аккуратной бородкой:

— Я совершенно согласна с Александром Николаевичем Яковлевым. Надо вернуться к ленинским принципам! К подлинному народовластию! Вы согласны?

Мужчина отмалчивался.

— Нет, вы ответьте, ответьте!

— Тьфу, жидовка! — мужчина сплюнул и отошёл.

Маленький едкий человечек втолковывал увальню с тяжёлым лицом:

— Всех коммуняк надо собрать и ко лбам гвоздями приколотить партбилеты. А потом судить, как в Нюрнберге. И повесить! Ты понял?

— Ну, — промычал увальень.

— Я тебе что втолковываю. Всех коммуняк отловить, да в клетку, да судить, да повесить, хоть бы на этих столбах! — Он указал на фонарный столб. — Дошло до тебя?

— Ну, — односложно ответил увальень.

Появился человек, по виду странствующий монах, в линялом подряснике, с сальными до плеч волосами, беззубым ртом. Воздел руки:

— Аз есмь сошед с небес, дабы вразумить заблудших. А иначе всем быть в геенне огненной!

Вокруг него собрался народ, некоторое время слушал. Потом кто-то кинул в него стаканчик от мороженого, и монах исчез.

Куравлёву казалось, что кругом летят опилки. Они сыпались из-под пилы, рассекающей жилистое дерево. Пилы не было видно, она находилась

где-то ниже по улице Горького, в Кремле. Там работали трудолюбивые дровосеки. Они пилили дерево, именуемое государством. Куравлёва смущало то, что государство уничтожалось теми, кто его возглавлял. У него не возникало потребности защищать государство, которое само на себя ополчилось. Но было что-то неладное, что-то скрытое от понимания, которым обладали сидящие в Кремле дровосеки. Через кремлёвскую стену летели опилки, и Куравлёв слышал, как лопаются одна за одной тугие жилы в стволе государства.

Вернувшись домой, Куравлёв уселся читать рукопись Карповича, где описывалось мужество советского разведчика, внедрённого в ряды Народно-трудового союза. Этим разведчиком был, конечно же, сам Карпович. Это он хитроумными путями добился доверия у антисоветчиков. Он вскрыл их связи с американской разведкой. Он был на грани провала, и только мысли о Родине позволили ему уцелеть. Язык романа был корявый, натужный. Персонажи выписаны убого. Типичный пример графомании. Карпович, представитель Лубянки, курируя московских писателей, постоянно сталкивался с их творчеством. Решил, почему бы ему не попробовать самому. В результате возник роман-уродец, чтение которого причиняло страдание. Куравлёв не решился отказать Карповичу, принуждал себя к чтению, повинаясь реликтовой опаске, которую вызывали люди с Лубянки.

Глава шестая

Куравлёв любил свои “Жигули”, вторую модель, их хрупкий изысканный вид, утончённый рисунок радиаторной решётки, четыре глазастые фары с лучами прозрачного света. Тихий рокот мотора, который был в согласии с биением его сердца. Куравлёв не просто управлял машиной, но разговаривал с ней. Просил совершить поворот, осветить тёмную трассу, подать бархатный сигнал, лишённый скандальной резкости. Его легковушка, как и печатная машинка, была странным подобием его самого. Преображалась из железного механизма в живое чувствующее существо. Именно это ощутил Куравлёв, садясь в машину и отправляясь на свидание с “мудрецами” у метро “Аэропорт”.

Марк Святогоров оглядел его со всех сторон. Что-то смахнул с пальто, поправил шарф. Он готовил смотрины и хотел, чтобы жених выглядел безукоризненно.

— Поверь, уже сегодня вечером ты станешь другим человеком. В тебе ничего не станут менять, ни на чём не будут настаивать. Просто покроют лаком, и ты засверкаешь. Приготовь какую-нибудь забавную историю, чтобы возникла лёгкость общения.

— А на мне появится клеймо: “Сделано на “Аэропорте”?”

— Поверь, многие мечтают о таком клейме!

Дверь им открыл Андрей Моисеевич Радковский, литературовед, профессор университета. Невысокий, с голубыми, чуть навывкате глазами, белёсый, лысеющий, с мягким приветливым ртом. И только нос — небольшой, заострённый, птичий — говорил о пытливости, способности проникать в самые тонкие глубины чувств. На нём был домашний вельветовый пиджак, подомашнему расстёгнутая рубаша, открывавшая на груди редкие седые кудельки.

— Проходите, проходите, молодые люди. — Андрей Моисеевич принял у Куравлёва пальто. — Нет, нет, не снимайте обувь. Да у нас и тапочек нет, — как бы извинялся Андрей Моисеевич, приводя Куравлёва в смущение. Подошвы вошедших были в осенней московской грязи, а паркет был натёрт и блестел.

В прихожей появилась женщина, полная, милая, должно быть, хозяйка.

— Прошу, Роза Семёновна, моя жена. А это Виктор Ильич Куравлёв, — Андрей Моисеевич представил одного Куравлёва, ибо Марк Святогоров уже бывал в этом доме.

— Дочитываю вашу книгу, — произнесла Роза Семёновна, ласково улыбаясь, — Андрей Моисеевич даёт мне те книги, которые заслуживают его внимания.

— У Розы Семёновны тонкий вкус. Она могла быть стать той, кем была для Хемингуэя Гертруда Стайн.

Через сияющую люстру гостиную они прошли в кабинет. Там стоял письменный стол из карельской берёзы. Из неё же были кресла и диван с высокой спинкой. От этого кабинет казался солнечным, отекал мёдом. Одну стену занимала библиотека, полки от пола до потолка. На другой стене над столом висела картина в простой деревянной раме: арлекин в клетчатом облачении танцевал на одной ноге.

— Это Судейкин, — пояснил Андрей Моисеевич, уловив взгляд Куравлёва. — Садитесь, друзья!

Андрей Моисеевич занял место за столом, усадил Куравлёва в кресло напротив. Марк Святогоров и Роза Семёновна сели на диван.

— Когда-то на этом диване сидели Шкловский и несравненная Лиля Брик, — произнёс Андрей Моисеевич с лёгкой печалью, тем самым давая начало разговору.

Куравлёв увидел свою книгу “Небесные подворотни” на столе хозяина.

— Я прочитал вашу книгу. Надеюсь на дарственную надпись. — Андрей Моисеевич положил голубоватую ладонь на книгу. Куравлёв заметил на его пальце золотой перстень с мелкими бриллиантами. — Поздравляю. Эта книга выделяется из новинок последнего времени. Кстати, она отличается и от ваших прежних работ. В вашей первой книге было слишком много от русского фольклора. Я понимаю, вы отдали дань нашему прошлому. Но эта новая книга, она о будущем. Я ловил себя на том, что в ней есть нечто от двадцатых годов, когда литература стремилась в будущее. Быть может, в ней есть нечто от Замятина. Или от Пильняка. Или от Бабея.

— Ты говорил, что в ней присутствует что-то от Татлина, — промолвила Роза Семёновна.

— В самом деле, эти летающие города, эти космические птицы! Ведь “Башня Татлина” — это винт, который ввинчивается в Космос. Недаром Хлебников назвал его “Татлин — Летатлин”.

— Наши “деревенщики” плохо относятся к Татлину. Говорят, что он воспроизвёл Вавилонскую башню, — смущённый похвалами, заметил Куравлёв.

— Разрушение Вавилонской башни — это библейский миф. Из других источников известно, что Вавилонскую башню построили. На её вершине сделали молебню и славили космические силы. Не летал ли Гагарин к вершине Вавилонской башни? — загадочно улыбнулся Андрей Моисеевич.

— Ну, конечно! — захохотал Святогоров. — Не на Сухареву же башню он решил присесть!

За время их беседы несколько раз звонил телефон. Андрей Маркович снимал трубку и вкрадчиво, властно давал указания. “Нет, этого не включайте. Включите Востроухова. В делегации должен быть русский”. Или: “Нет, нет, только не в Дубовом зале. Закажите в “Метрополе” на четыре персоны. Как кто? Вы, я, гость и переводчик”.

— Мне кажется, — продолжил беседу Андрей Маркович, — необходимо пополнить ряды тех, кто причисляет себя к последователям Трифонова. Ну, не буквально! Русские писатели не могут потчевать нас рассказами о том, как расгут овсы или как прекрасен был обряд венчания. Мы должны заглядывать в наше социальное будущее. Трифонов не заглядывает в будущее, но будущее стремительно приближается. У этого будущего должны быть свои исследователи, свои летописцы. Близятся великие столкновения, великие схватки. Литература будет в них участвовать. Каким оно будет, это будущее? В галифе, с синей фуражкой охранника? Или по-европейски свободным человеком? Михаил Сергеевич Горбачёв при встрече сказал мне: “Мы нуждаемся в писателях. Мы надеемся на их поддержку”. Над чем же вы сейчас работаете, Виктор Ильич?

Андрей Моисеевич заглядывал в глаза Куравлёву, и тому казалось, что птичий нос Андрея Моисеевича нацелен в потаённые уголки его души, выскикивает в ней ту сущность, ради которой и состоялась их встреча. Так внимательная синица выклёвывает из древесных щёлок притаившихся там жучков.

— Да, собственно, ни над чем не работаю. Душа, как говорится, пуста. Много езжу, наблюдаю, коплю впечатления.

— Каковы же впечатления? Поделитесь с нами.

Перед визитом Куравлёв перебирал занимательные случаи, случавшиеся с ним в поездках. Остановился на одном, которым надеялся позабавить хозяина.

— Летом в Киргизии я видел, как в самолёты загоняют отары овец и уносят в горы, где альпийские луга, хрустальные ручьи, и там овцы спасаются от пекла долин.

— Боже мой! Овец самолётами? — изумилась Роза Семёновна.

— Я вернулся с гор с букетом альпийских цветов. Пора было возвращаться в Москву. Но рейсовых самолётов не было. Стоял на краю аэродрома какой-то грузовой борт. Я попросил лётчиков захватить меня. “Рога у тебя есть?” — спросил командир. “Конечно. Разве не видно?” — “Тогда полезай!” Я залез в самолёт и понял, почему меня спросили о рогах. В фюзеляже топталось с полдесятка коров и бык, здоровенный, с косматым загривком, набрякшими кровавыми глазами. Из рта тянулась липкая слюна. Бык водил могучей шеей и сильно дышал. Он был обвит какими-то тросиками, мешавшими двигаться.

— Боже! — охнула Роза Семёновна.

— Самолёт загрел моторами, разогнался и взлетел. Коровы поняли, что их отрывают от родных пастбищ, от вкусной травы. Заметались по самолёту, стиснули меня боками. Бык захрипел, наклонил голову и пошёл на меня. Боднул, промахнулся, ударил рогами в обшивку.

— Неужели вам не было страшно? — Роза Семёновна испуганно прижала пальцы к губам.

— Ещё как страшно! Я уклонялся от ударов быка, как тореадор. Коррида в небе! Я боялся, что бык рогами проломит обшивку, самолёт развалится, и мы все, коровы и я, посыплемся на землю. Я стал истошно кричать, барабанил в дверь кабины. Оттуда выглянул весёлый пилот. Стал крутить какую-то ручку. Тросики под брюхом быка натянулись, и он повис, болтая ногами и зверски мыча. Так мы долетели до места. Я пересел в рейсовый самолёт и заметил, что люди недовольно на меня поглядывают. От меня пахло коровником. Я заснул, и мне снилось стадо летящих коров, у которых на рогах крутились пропеллеры!

Куравлёв, возбуждённый собственным повествованием, старался угадать, какое впечатление произвёл его рассказ.

— Bravo! — захолопал в ладоши Андрей Моисеевич. — Вы прекрасный рассказчик! Напишите рассказ “Летающие коровы”. В этом есть что-то от Платонова.

Куравлёв почувствовал, что эффектно завершил визит, и стал прощаться. Когда он подписывал книгу, Андрей Моисеевич спросил:

— Кого вы из ваших сверстников могли бы порекомендовать мне?

— Макавина. У него вышла прекрасная книга “Шепчущие камни”.

— Да, да, я слышал о ней. Роза, — обратился Андрей Моисеевич к жене, — достань мне, пожалуйста, эту книгу.

Уже в прихожей, подавая Куравлёву пальто, Андрей Моисеевич спросил:

— Не хотели бы вы поехать в Париж? Там состоится европейский литературный форум.

— Конечно! — радостно согласился Куравлёв.

— Тогда я включу вас в состав группы.

Когда они с Марком Святогоровым оказались на улице, тот восторженно обнял Куравлёва:

— Всё бесподобно! Ты покоришь их сердца! Теперь тебе дорога открыта. И молодец, что назвал Макавина. Это настоящая дружба! — он побежал по промозглой улице, ещё раз мелькнув под фонарём.

Глава седьмая

Куравлёв чувствовал себя победителем. Он прошёл испытание. Он лишь догадывался о том тайном, всемогущем жюри, которое его экзаменовало и которое представлял Андрей Моисеевич. В писательских домах у “Аэропор-

та” обитала неявная власть, управлявшая судьбами писателей и всем литературным процессом. Явная власть, представленная вельможными секретарями Союза писателей, гнездилась в Доме Ростовых, что примыкал к ЦДЛ. Но была не всеильна. Делила своё влияние с “мудрецами” “Аэропорта”, которые часто действовали вопреки желаниям секретарей. И те, имея опору в партийных верхах и в КГБ, уступали бесшумному бархатному давлению “мудрецов”, один из которых, с золотым перстнем в мелких бриллиантах, столь милостив был к Куравлёву.

Он сел в машину, собираясь вернуться домой. Но вдруг почувствовал, что неодолимо, мучительно, нестерпимо желает увидеть Светлану. Её грациозную белую шею, капризные, сладкие губы, маленькую прелестную родинку. Желание было ошеломляющим, разящим. Оно копилось в нём в течение дня, не обнаруживая себя, и вдруг обрушилось, ослепило, превратилось в страдание, в боль, в чудесную сладость. Это желание было пагубным, несло в себе несчастье. Но Куравлёв желал этого несчастья и слепо, не умея сопротивляться, не желая понимать это неодолимое влечение, вышел из машины. Зашёл в телефонную будку, где пахло чем-то прокисшим, и набрал её номер:

— Приезжай, хочу тебя видеть.

— Я думала, ты забыл обо мне.

— Приезжай, сейчас же. Буду ждать тебя в ЦДЛ.

Он прошёл в Дубовый зал, и метрдотель Александра Фёдоровна, любившая подчеркнуть, что носит имя императрицы-мученицы, отвела ему столик у деревянного столба, оплетённого резной виноградной лозой.

Куравлёв пошёл в вестибюль встречать Светлану. Перед входом на стульях сидели две высокие старухи с каменными лицами и лошадиными ногами. Они сдерживали тех, кто, не имея писательского билета, желал проникнуть в заветное заведение. Две чахлая девицы умоляли старух пропустить их, ссылаясь на знакомство с каким-то писателем. Буйно рвался забудыга, кому за дебоши было отказано в пропуске. Старухи окаменело сидели, как два льва на воротах, пресекая все незаконные проникновения.

Сквозь стеклянную дверь он увидел Светлану. Кинулся навстречу мимо старух, которые, казалось, были недовольны тем, что им помешали проявить их властную волю.

— Как я тебя ждал! Как ты хороша! — Куравлёв снимал с неё пальто, извлекал на свет её лёгкое подвижное тело, вдыхал запах сырых московских улиц и тонких, горьковатых духов. — Чудо, что я вижу тебя!

Им подали двух запечённых карпов с хрустящей корочкой и бутылку “Цинандали”.

— Мы съедим этих карпов и превратимся в двух больших рыб, — сказала она.

— Мы и так две большие рыбы, — он любовался, как она ест, как красиво держит вилку, как подносит ко рту розовый ломтик мякоти, как делает глоток вина. Всё это казалось восхитительным, трогательным, волновало его.

— Я почитала твою книгу. Я редко читаю, но тут захотела узнать того, с кем накануне провела ночь. Хотя и не до утра.

— Будет такое утро, когда ты откроешь глаза и увидишь меня.

— Я под впечатлением от твоего романа. У тебя великолепные, иногда страшные описания города, который стоит на коровьих костях. Здесь есть нечто языческое, связанное с приношением жертв. Твой космический мечтатель, унесёт ли он в Космос эти окровавленные коровьи туши? Ты еще не нашёл ответ. Этот роман — лишь прелюдия следующего, в котором ты найдёшь ответ.

— Найду ли?

— Найдёшь. У тебя блестящее будущее. Я вижу на твоём челе лавровый веночек триумфатора.

— Сегодня мне дали это понять. Я заключил неписанный договор, быть может, с дьяволом.

— Заключи договор со мной. Я принесу тебе удачу. Я буду рядом. Пусть все знают, что тебе принадлежит самая красивая женщина, и завидуют!

Он старался найти в её словах иронию, но глаза её смотрели ясно, словно она была уверена в своей женской силе, во власти над ним.

В зал вошёл Макавин, крупный, статный, поводил весёлыми, чуть раскосыми глазами. Увидел Куравлёва и подошёл.

— Виктор, рад за тебя. Ты никогда не обходил стороной красивых женщин. — Макавин поклонился Светлане. — Мне повезло меньше. — Он оглянулся. В дверях стояла критикесса Наталья Петрова, нервно осматривала зал. Увидела Макавина, махнула ему. Но тут же углядела Куравлёва с женщиной. Её узкое козье лицо стало злым, и она повернулась, желая уйти.

— Натали, я здесь, — позвал её Макавин, и они отошли в дальний конец Дубового зала, где им был приготовлен столик.

— Почему она так зло на тебя посмотрела?

— Ей не понравилось, как я ем рыбу.

— Так смотрит женщина, которую обманули.

— Мне важно, как смотришь ты.

— Смотрю и не верю своему счастью. — Она усмехнулась, уголки её губ чуть дрогнули, и он снова почувствовал, как она желанна, какая таинственная ошеломляющая сила в этой усмешке и как хочется ему поцеловать эти розовые губы.

— Я так устала от ваших тёмных московских дней, от слякоти, сырости! Я родилась в Севастополе, у моря. У нас столько света, тепла. Как бы я хотела оказаться в Крыму. И зимой там синее небо, солнце. Горлинки воркуют, пахнет виноградным вином.

— Вот “Цинандали”, отличное виноградное вино. А вот виноградная лоза, — Куравлёв протянул руку и коснулся резной, обвившей столб лозы.

— У мужа есть машина. Мы сядились и уезжали из города в Батилиман, в Форос. Или в Херсонес. Там такое синее море и развалины храма, в котором крестился князь Владимир. Там пахнет степной полынью, водорослями, а на горизонте, как туманный остров, темнеет авианосец. Как бы хорошо нам с тобой поехать к Чёрному морю, по всем моим святым местам!

— Ты была с мужем в этих местах. Он нам будет мешать.

— Тогда поедem к Белому морю.

— Там мы были с женой.

— Куда же нам с тобой деться? Остаётся один ЦДЛ! А ты бы на мне женился? Я хороша собой, не правда ли? На нас бы заглядывались. Я бы помогала тебе в работе, читала твои рукописи, печатала их. Мы бы прекрасно путешествовали. Тебя бы направляли во Францию, Англию, Америку. Я помогу тебе войти в литературные салоны Парижа и Лондона. В Москве, у себя дома, в нашей великолепной квартире, мы станем принимать гостей, известных писателей, артистов, художников. Илья Глазунов напишет мой портрет, “Дама в голубом”. Женись на мне!

Куравлёв смущённо молчал.

— Ну, прости, я пошутила. Не хотела ставить тебя в неловкое положение.

На пороге зала появился, как привидение, гробовщик, ведающий погребением писателей. “Ангел смерти” с надменно запрокинутой головой оглядел зал чёрными жутковатыми глазами. Исчез.

— Какой неприятный персонаж, — сказала Светлана. — От него стало холодно. Поцупай руку! — он взял её руку в свою, рука была холодная, и он согривал её, перебирал её пальцы.

— Пойдём отсюда, — сказала Светлана. — Давай покатаемся по Москве!

Они подошли к машине.

— Позволь, я сяду за руль.

— Разве ты водишь?

— Муж сажал меня за руль. Я ездила по крымским дорогам, в горах.

— Ну, что ж, садись, я буду дирижировать, чтобы нас не прихватил полевой.

Куравлёв передал Светлане ключи. Они уселись. Светлана, почти не глядя, сунула ключ в скважину. Машина мягко завелась, и они покатали от ЦДЛ на Садовое и дальше, к площади Маяковского. Она вела машину

легко, без рывков, аккуратно вписываясь в поток, не обгоняя, повинуюсь его указаниям.

Они проехали площадь с памятником Маяковскому, покатали к Белорусскому вокзалу с памятником Горькому, свернули на Бутырский вал к Савёловскому вокзалу. Куравлёв чувствовал, что машина послушна ей, повинуется, признала своей. Её пальцы крепко сжимали руль, глаза зорко, спокойно смотрели вперёд.

Но когда выкатили на Дмитровское шоссе, с ней что-то случилось. Она рывком толкнула машину. Двигатель взвыл, словно ему сделали больно. Она прибавила скорость. Машину швырнуло вперёд. Понеслась, виляла среди других машин, подрезала их, выскакивала на встречную полосу, чиркала по тротуару. Куравлёва, как лётчика при перегрузках, вжимало в сидение.

Они пролетели на красный свет. Им истошно сигналили. Она не слышала. Машина теряла управление, подсакивала, готова была опрокинуться, готова была взлететь. Понестись над шоссе, оставляя внизу размытые фонари, мелькавшие фары, уходя в чёрную высь, из которой Москва казалась огромной золотой водорослью.

— Что ты делаешь? Остановись! — кричал Куравлёв. Она не слышала. Губы её раздвинулись в большой улыбке, так что начинали блестеть зубы. Глаза горели счастливым безумием. Руки лежали на руле, почти не управляя. Казалось, бросила руль, и машина мчится слепо, по своей воле, желая кого-то настигнуть, ударить, разбиться, превратить безумный полёт в моментальную вспышку взрыва.

Куравлёву казалось, она испытывает жуткую страсть, стремление к смерти. Желание одолеть земное притяжение и вырваться в другое пространство и время, где нет ничего человеческого, а царят иные стихии. Он сам был таков. Сам искал это гибельное наслаждение, искал безумное мгновение, когда рассекается утлый чехол бытия, и сверкает ослепительная, пусть мгновенная жизнь, ради которой он родился на свет, мучился, искал. И вот теперь сумасшедшая прекрасная женщина дарит ему это последнее счастье.

Они вынеслись за Москву, пролетели стеклянную будку ГАИ. Некоторое время мчались, налетая на встречные слепящие фары. Она сбросила скорость, свернула на боковую дорогу, на какую-то стройку с тёмными недостроенными корпусами. Остановилась, бросила руль. Сидела, закрыв глаза, бессильно свесив руки. Продолжала улыбаться какой-то мертвенной улыбкой.

— Слава Богу! Живы! Выходи, я сяду за руль!

Они поменялись местами. Машина слабо стонала, словно в ней порвались поджилки.

— Боже, что с тобой было? Ты хотела разбиться?

Она медленно, как во сне, потянулась к нему, придвинулась и поцеловала в губы, больно, желая причинить боль ему и себе. Стала шарить ладонью у него под рубахой:

— Ну, что же ты! Что ты!

Он неумело, торопясь опустил её сиденье, стал раздевать её. Она тянула его к себе. Со стройки, подле которой они находились, выкатил тяжёлый самосвал, осветил их машину. Она лежала ослепительная, серебряная, и погасла. Это было похоже на их безумный полёт. Было продолжением смертельного стремления к смерти, которое вдруг сверкнуло небывалым счастьем. Обрушилось огненным ливнем, загухая, мерцающая редкими искрами.

Он отвёз ее домой. Она холодно, скользнув губами, поцеловала его.

— Нет, не надо. Не ходи за мной, — и исчезла. А он остался сидеть, не понимая, где они побывали, в каком поднебесном раю, и вынуждены были вернуться на холодную презимную землю.

Глава восьмая

Была среда, а значит, день, когда из почтового ящика можно извлечь “Литературную газету”. Её влияние было огромным. Она владела умами интеллигенции. На протяжении многих лет готовила “перестройку”. Многие

идеи, провозглашённые открыто Кремлём, теплились, копились в “Литературке”, пока не вырвались на улицы демонстрациями, рок-концертами, паникой в рядах заскорузлых партийцев.

Куравлёв не просто любил газету, но был её автором. Отправлялся в командировки на великие заводы и стройки. Туда, где в целинных степях безбрежно колосилась пшеница. Плыл по Туркменскому каналу, по бирюзовой воде среди раскалённых барханов. Он просыпался на заре в каком-нибудь туркменском кишлаке. Трясся по камням в повозке, запряжённой низкорослой лошадкой. Добирался до районного посёлка и садился на трескучий биплан. Прилетал в областной центр и ближайшим рейсом добирался туда, откуда самолёты шли на Москву. Прилетал в Домодедово и катил по шоссе среди восхитительных, милых и родных березняков. Пересаживался на электричку и вечером, загорелый, усталый, безмерно счастливый, обнимал жену и детей. Выкладывал на стол золотую дыню и коричневые гранаты, полные рубиновых зёрен. Не ведая отдыха, пока в нём ещё не смолкли моторы самолётов и цоканье по камням прилежной лошадки, садился за стол в своём кабинете под пристальным надзором обугленного Николая. И писал очерк, огненный, с колёс, страстный и красочный. С утра относил в газету. Не спорил, не резонился, когда редактор вносил необходимую правку. Читал гранки на жёваной, похожей на оберточную бумаге. И, наконец, держал в руках драгоценную, в шестнадцать полос газету, тихо звенящую тончайшими страницами, среди которых красовался его очерк. Ему казалось, что в напечатанном очерке светится каждая буква.

Куравлёв вынул из почтового ящика газету, принёс в кабинет. Развернул широкие полосы, которые, как ему казалось, слабо звенели, словно тончайшая фольга. Пролистал первую половину газеты, “первую тетрадку”, где рассказывалось о несомненном преимуществе кооперативов перед колхозами. Освещалась встреча Горбачёва с премьер-министром Швеции. Была напечатана статья главного идеолога “перестройки” Александра Яковлева о необходимости вскрыть уродливые явления советского прошлого, смелее использовать демократический опыт западных стран.

Все это Куравлёв пробежал бегло. Стал просматривать вторую половину газеты, “вторую тетрадку”, как её называли. Здесь печатались материалы о культуре, интервью с ведущими актёрами и писателями, критические статьи на литературные новинки. Он увидел статью, от которой возликовал и которую жадно стал читать. Сначала прочитал имя автора — Наталья Петрова. Обещанная статья, посвящённая “Небесным подворотням”. Это была радость, победа. Потом он прочитал заголовок: “Грязь подворотен и шёпот самоцветов”. И подзаголовок. “О книгах Виктора Куравлева и Антона Макавина”.

По мере того, как он читал, его брала оторопь, изумление и никогда доселе не изведенное страдание. В статье книга Куравлёва была названа сгустком мертвящих, кровавых и бессмысленных сцен. Герои ходульные, безвкуско придуманные. Идея книги — воспевание бездушного государства, того, от которого сегодня отрешается общество.

Куравлёв чувствовал, как разрастается страдание. Это была вероломная, несправедливая статья, рассчитанная на истребление. Истребление Куравлёва было тем беспощадней, что тут же воспевалась книга приятеля, утверждалось превосходство Макавина. Макавину в этой статье давался разбег, а Куравлёва останавливали, загоняли в тупик.

Он в панике искал объяснение случившемуся. Петрова по-женски мстила ему. Он отверг её любовное приглашение, на глазах у неё выбрал другую женщину. Вспомнился злой взгляд критикессы, когда уходил со Светланой из Пёстрого зала. Но неужели это всему причина? Неужели невольная мужская бестактность и мимолётная женская обида побуждают к утончённому вероломству, к жестокому отмщению, истреблению обидчика?

Это поражало, но объясняло появление статьи. Ещё большее страдание причиняло вероломство друга. Макавин во время вчерашней встречи в ЦДЛ уже читал статью, обрадовался ей, не восстал, увидев, что статья истребляла товарища. Макавин согласился с этой неблагоприятной ролью. Легкомысленно прошёлся по хребту Куравлёва, и от этого было невыносимо.

Он сидел перед раскрытой газетой. С её страниц несло гарью, будто жгли кость.

Завонил телефон. Сочный властный голос произнёс:

— Виктор Ильич? Приветствую вас!

Это был Сыроедов, заместитель главного редактора “Литературной газеты”. Умный, осторожный, из видных московских партийцев, он, а не главный редактор, вёл повседневно газету. Проводя её по лезвию, допуская идеологические вольности, которые не дозволялись другим. Выполняя установки главного редактора, он самостоятельно публиковал статьи, иногда ошеломляюще смелые. Эти статьи вызывали взрывы среди возбуждённых интеллигентов. Давал выход их фронде, направляя в безопасное русло их едкую разрушительную энергию.

— Виктор Ильич, не могли бы вы зайти ко мне?

Куравлёв подумал, что Сыроедов хочет объясниться по поводу разгромной рецензии, помещённой в газете, которая печатала очерки и репортажи Куравлёва.

— Жду через час у себя! — властно, почти приказывая, произнёс Сыроедов.

Куравлёв вышел к машине и увидел, что идет снег. Мокрые рыхлые хлопья падали на землю и таяли. Он поднял лицо. Снег таял у него на лбу, на щеках, и в этом сыром снегопаде он остро ощутил, что завершилось одно время жизни и наступило другое. И между двумя временами жизни проведена незримая черта, и за этой чертой остались прежние переживания, и среди этих переживаний — боль, причинённая злой статьёй.

Так он себя убеждал, садясь в машину и направляясь в “Литературную газету”, смахивая щётками липнущий снег.

Через час Куравлёв был в газете. Огромное конструктивистское здание на Цветном бульваре было пропитано типографским свинцом, лязгом печатных станков, куревом, шелестом многих бумаг. Ощущалась кропотливая работа множества деловитых, расторопных людей, творящих в своих кабинетах идеологию и политику. Тот дым, которым дышало общество, наполнял лёгкие наркотическими неслышными ядами.

В тяжеловесном лязгающем лифте Куравлёв поднялся на третий этаж, где находился кабинет Сыроедова. Навстречу попался главный редактор Чаковский, с маленькой черепашьей головой, с сигарой во рту. Он шёл вдоль стены, не замечая сотрудников, не отвечая на их приветствия. Казалось, сигара с красным огоньком на конце тянет его вперёд. Он шёл, оставляя за собой синеватые кудельки дыма.

Кабинет Сыроедова был невелик, с телефоном цвета слоновой кости, соединявшим его с ЦК, Министерством обороны, с государственными учреждениями. На стене висело электронное табло с шестнадцатью окнами, по числу газетных полос. Окна загорались по мере изготовления газеты.

— Садитесь, сударь, — доброжелательно пригласил Сыроедов, усаживая Куравлёва в кресло напротив.

Он был крепок, с мясистыми щеками, приплюснутым носом и суровыми глазами из-под нависших бровей. Напоминал породистого бульдога, хмурого и опасного, но вдруг начинавшего резвиться, добродушно вилять обрубок хвоста.

— Вас, должно быть, задела эта критическая статейка? Бросьте! Её никто не заметит. Мелкие интриги в мелкой среде.

— Для меня важно, чтобы близкая мне газета видела во мне сотрудника, разделяющего её ценности. Статья ставит под сомнение мои отношения с газетой.

— Бросьте! Мнение какой-то мелкой критикессы... Чем вы ей досадили? Отказались с ней переспать? Мои любовницы такие же обидчивые! — Сыроедов рассмеялся. Упоминание о любовницах делало разговор доверительным, почти дружеским, хотя прежде между ними сохранялась дистанция. — Я хочу вам сделать предложение. Поезжайте в Афганистан. Мне нужны жёсткие писательские впечатления о войне. Прошли времена, когда мы лакировали эту войну и писали, как наши солдаты роют арыки и сажают

сады. Общество устало от этой войны, устало от гробов. Видимо, войну скоро закончат. Газете нужны правдивые, жёсткие, даже жестокие картины войны. Вы можете писать жестокие сцены. Убийство коров в вашей книге!

— Вы хотите, чтобы я назвал эту войну бойней? — Куравлёв изумился тому, что Сыроедов нашёл время открыть его книгу.

— Ни в коем случае! Пусть её так называют нервные сторонники академика Сахарова. Эту войну ведёт государство, и концепция этой войны остаётся прежней. Мы выполняем интернациональный долг. Но читатель хочет знать правду об этой войне. И не из уст демократов, а из уст государства. Вы, в данном случае, становитесь устами государства.

— Предложение неожиданное, лестное.

— Поезжайте в Афганистан. Наберитесь впечатлений. И напишите свою главную книгу. “По ком звонит колокол”.

— Когда нужно ехать?

— Хоть завтра, хоть через неделю. Я должен оговорить вашу поездку в ЦК и Министерстве обороны.

— Благодарю за доверие.

— Привезите из Афганистана серебряное кольцо с лазуритом. Хочу подарить любимице! — Сыроедов снова засмеялся, уже забывая о Куравлёве. На электронном табло зажглось окно. Ещё одна полоса великой газеты была готова. Бумажный лист, пропитанный дурманами, которых так ждала обкурная “перестройкой” интеллигенция.

Этот день принёс ему множество волнений. Разгромная статья на любимую книгу. Вероломство Макавина, которого считал другом. Неожиданное предложение ехать в Афганистан, что, быть может, позволит написать книгу, которую смутно предчувствовала и звала душа. И, конечно, Светлана. Её муж сражался в Афганистане, и предстоящая поездка мучительно связывала всех троих.

Ему захотелось увидеть Светлану, немедленно, неудержимо. Её появления ждали глаза, руки, грудь, все живые горячие биения тела, которое помнило их вчерашнюю близость, когда она вдруг вспыхнула, обнажённая, серебряная, и эта вспышка сегодня продолжала сверкать.

Он позвонил Светлане, пригласил в ЦДЛ и сам поехал в писательский клуб заказывать столик.

Пёстрый зал уже наполнялся публикой. Уже шумел подвыпивший Шавкута, сияя восторженной синевой глаз. Уже двое хмельных поэтов читали друг другу стихи, бранили Евушенко и спорили, кто из них двоих есть первый поэт России.

Куравлёв едва сел за столик, как увидел входившего в зал Макавина.

— Витя, я всё видел, всё знаю! Ужасная статья, мерзкая! И мерзость в том, что злобная баба хочет нас с тобой поссорить! Двойной укус — уничтожить замечательный роман и поссорить тебя со мной! Двойной змеиный укус! — Макавин извинялся, был искренне огорчён.

— Но вчера ты уже знал о статье! Петрова показала тебе свой пасквиль. И ты не остановил её. По лицу твоему я видел, ты читал эту пакость, был даже рад!

— Ну что ты, Витя! Какая радость! Я её отговаривал, просил отозвать статью. Но я же не властен! Не виноват перед тобой, но чувствую вину! Ты прости меня, Витя!

Макавин винулся искренне, и Куравлёв поверил ему. Макавин оставался другом, и злая критическая с козлиным лицом была не в силах разрушить их дружбу.

Появились Гуськов и Лишустин. Сначала взяли в буфете водку, бутерброды с колбасой. Подсели за столик к Куравлёву и Макавину. Они не читали статью, и разговор пошёл о другом.

— Писателю не следует носиться по свету, как это делает Куравлёв. Сиди на одном месте, и жизнь сама станет накапывать на тебя. Сиди на берегу моря, и оно будет выбрасывать на берег таинственных рыбин и обломки кораблей. — Гуськов повторил свой укор Куравлёву, осторожно пригубил, а потом выпил залпом.

— Ты сказал о море. — Лишустин вышил. — Я в Москве скучаю по морю. Я помор. Мы, Лишустины, живём у моря, от того и поморы. Ходили на промысел чуть ли не к полюсу. Именем Лишустиных названы острова, которые севернее Новой Земли.

— Ну, и поезжай на море, кто мешает? — сказал Гуськов. — Зачем Москву хулить?

— Москва для России — приворотное зелье. Все в Москву норовят. А она, Москва-то, поцелует и отравит. Ядовитые у Москвы поцелуи.

— Ну, и целуйся со своими рыбами, а нам уж позвошь в Москве пребывать.

Они захмелели, им было хорошо, они дружески препирались. Они провели день в своих домах, писали романы, а к вечеру пришли в ЦДЛ, который и впрямь был приворотным зельем. Привораживал к себе, и уже невозможно было отказаться от его сладковатой отравы.

— А я, друзья, отправляюсь в Афганистан. Такая появилась возможность, — сказал Куравлёв и тут же пожалел. С поездкой ещё было неясно, да и сам он до конца не принял решения.

— Куда, куда? — переспросил Макавин.

— В Афганистан. Хочу понять эту войну.

— Ну, не знаю, не знаю. Афганистан — это плохо звучит. Народ не понимает этой войны. Интеллигенция называет участников войны кровопийцами. Витя, ты можешь себе навредить. Многие от тебя отвернутся.

— И вы отвернётесь? — спросил Куравлёв.

— Я — нет, — сказал Макавин. — Я твой друг. А многие назовут тебя кровопийцей.

— Если есть такая возможность, поезжай. Я бы поехал, — сказал Гуськов. — Кто-то едет в Париж, а кто-то — в Афганистан. Поезжай, Витя. Только привези из Афганистана роман, а не пулю в башке.

— Не езд! — отговаривал Лишустин. — Что тебе смотреть на людские страдания? Станешь рассказывать, как русского Ивана убивают? Не надо было воевать в Афганистане. Не проглотим его. Вон, вся исконная Россия обезлюдела. Туда направить русских людей. А эти все к тёплым морям лезут!

— Всё правильно. Россия — империя. Это имперская война. Ещё одна, но не последняя. Границы империи дышат. Один вздох, и Казань наша. Другой вздох, — и Туркестан. Третий вздох, — и Афганистан. Четвёртый — Индия!

— Эх, как бы выдох не был последним, — сказал Лишустин. — Не езд в Афганистан, Витя. Давай лучше махнём на Мезень, покажу дом, где родился.

— Прав Петя, зачем тебе ехать? — искренне огорчился Макавин.

— Все русские писатели знали войну. Пушкин стремился на войну. Лермонтов воевал, Толстой воевал. Гаршин воевал, Гумилёв. Сколько наших писателей прошло войну! Бондарев, Бакланов, Астафьев... Я хочу запечатлеть одну из бесчисленных русских войн.

— От этой войны шарахаются все писатели, художники, композиторы. Нет романов об этой войне, нет картин, нет песен. Не стоит тебе ехать! — продолжал отговаривать Макавин.

— Для меня пример — Верещагин. — Куравлёв уже знал, что поедет в Афганистан непременно. — Художник во стане русских воинов. Со Скобелевым он прошёл Туркестан и Балканы. С честью погиб в Порт-Артуре вместе с адмиралом Макаровым на броненосце “Петропавловск”!

— А тебя подстрелят где-нибудь в грязном кишлаке, и Россия лишится прекрасного писателя, — огорчился Макавин.

В зале появился Марк Святогоров. Он сразу же подошёл к их столику:

— Ты рассказал им, как мы были у Андрея Моисеевича? Витя произвёл фурор. Мне потом Андрей Моисеевич звонил: “Достойный преемник Трифонова”. Кстати, Антон, — он повернулся к Макавину, — Витя о тебе прекрасно отзывался. Скоро с тобой пойдём к Андрею Моисеевичу!

— А ты слышал, Маркуша? Наш-то Виктор собрался в Афганистан.

Наскучила ему московская жизнь. Решил повоевать. “Мальбрук в поход собрался. // Бог весть, когда вернётся”, — фальшивя, пропел Гуськов.

— Да ну, вы шутите! — не поверил Марк.

— Я похож на шутника? — зло огрызнулся Куравлёв.

— Нет, это правда? — горестно воскликнул Святогоров. — Ты всё погубишь! Тебе надо ехать в Париж, на писательский форум! Тебя все проклянут! Я старался, я водил тебя к Андрею Моисеевичу! Это катастрофа!

— Ничего, — зло произнёс Куравлёв. — Поведёшь к Марку Моисеевичу Макавина.

Он поднялся и пошёл в вестибюль встречать Светлану.

Глава девятая

Она появилась в дверях между двух лошадиного вида старух. Куравлёв поспешил к ней навстречу. Светлана была в короткой чёрно-бурой шубке, на которой блестел тающий снег. Куравлёв, принимая шубку, успел скользнуть губами по меховому воротнику, от которого веяло серыми снежными небесами.

Светлана была в короткой юбке и красном жакете. Её чудесное лицо, золотые волосы в тающих снежинках восхитили Куравлёва. Он увидел её и своё отражение в высоком зеркале.

— Мы смотримся, как супружеская чета. — Она повернулась на каблучках, и он почувствовал лёгкое дуновение душистого ветра.

Они прошли через Пёстрый зал, и он не оглянулся на сидящих приятелей.

В Дубовом зале было нелюдно. Лишь в стороне, под разноцветным фонарём, где были сдвинуты два стола, сидела компания. Куравлёв узнал двоих. То были академик Сахаров, вернувшийся из ссылки, и Владимир Максимов, редактор журнала “Континент”, выходящего за границей. Ещё недавно он был проклинаем властями, теперь же, во дни “перестройки”, стал обласкан.

Рядом с Сахаровым сидела стареющая, с небрежно причёсанной головой женщина. Она курила, не вынимая изо рта сигарету. Выпускала дым в таком количестве, что цветной фонарь над столом был в тумане. Когда Куравлёв и Светлана проходили мимо застолья, все замолчали и на них оглянулись.

— Кто это? — спросила Светлана, когда они уселись за стол.

— Наверное, это масоны. Здесь когда-то была масонская ложа.

— И ты масон?

— Точно не знаю, но похоже.

— А кто такие масоны?

— Ну, это такие люди, которые устраивают заговоры.

— Значит те, за столами, готовят заговор?

— Очень похоже.

— Они не успеют. Все задохнутся от дыма.

Им принесли две пылающие вырезки с кровью, бутылку “Мукузани”. Куравлёв, разливая вино, подумал, что у неё от виноградного вина почернеют губы, и он станет целовать её винные тёмные губы.

Она выпила свой бокал медленно, закрыв глаза. Куравлёв смотрел, как убывает вино в её бокале.

— Этой ночью мне приснился сон, — сказала она. — Я вижу море. Ты уходишь в это море. Оно расступается за тобой. Я иду следом по мокрому ракушкам. Хочу тебя догнать и не могу. Море смыкается, ты исчезаешь. Я вижу только гребешки тёмных волн. И проснулась. Что бы это могло значить?

— Есть сны, а есть толкователи снов, — глубокомысленно произнёс Куравлёв.

— Растолкуй этот сон.

— Ну, должно быть, это море житейское, и мы идём среди волн моря житейского.

— А почему мне было так тревожно, и я проснулась в страхе?

— Море житейское полно тревог.

— Налей мне ещё вина.

Она жадно осушила бокал, и он увидел, что красное вино сделало её губы тёмными.

— Давай сегодня напьёмся, — сказала она. — Того требует море житейское.

Куравлёв заказал ещё одну бутылку. Он собирался сказать Светлане о своей поездке в Афганистан. Но не решился. Было много мучительного и неясного, что таилось в этой поездке. Того, что касалось их обоих и того офицера, что сражался в азиатской пустыне.

— В этом сне ты от меня уходишь. Ты не уйдёшь от меня?

— Далеко не все сны сбываются.

— От меня все уходят. В детстве у меня был котёнок, и он ушёл от меня. Был чудесный пёстрый попугайчик, и он улетел. Была близкая подруга, и она умерла. Был муж, и он уехал в Афганистан, и там его убьют. Ты не уйдёшь от меня?

— Не уйду.

— Мы поплывём по морю житейскому, а потом нас подхватит ветер и унесёт далеко-далеко, в какую-нибудь неизвестную страну, где горы, пальмы, эвкалипты, рынки, полные смуглых говорливых людей, которые запрягают в тележки маленьких лохматых лошадок, а сами носят широкополые соломенные шляпы. Мы будем жить в скромном домике, и у нас будет своё дерево с плодами манго или с каким-нибудь сладким орехом. Я буду срывать плод и приносить тебе. Мы забудем о России. Тут будет смута, война, а мы станем жить у гор и любоваться своим деревом. У нас родятся дети. Вырастают и разъедутся, а мы останемся вдвоём. Будем стариться вместе с нашим деревом. Ты станешь старичком, будешь сидеть под деревом, а я стану закрывать тебе ноги пледом. Хорошо?

— Хорошо.

— Интересно, какая я буду в старости?

— Ты будешь красивой. Такие, как ты, и в старости остаются красивыми.

— Я красивее твоей жены? Не отвечай. А ты красивей моего мужа.

Было видно, что она опьянела. Её глаза стали уже, а слова — медленными, она произносила их нараспев. Куравлёв видел её, как сквозь волнистое стекло. Всё сладко плыло, а то вдруг разгоралось и мягко гасло.

Компания за дальним столом поднялась и двинулась к выходу. Впереди шла курящая женщина. Она не расставалась с сигаретой. Дым шёл изо рта, из ноздрей, из волос, из карманов жакета. В ней что-то тлело. Академик Сахаров послушно за ней поспевал.

— Как паровоз, а они прицепные вагоны, — сказала Светлана.

— Я еду в Афганистан, — произнёс Куравлёв.

Казалось, она не услышала. Её глаза замерли и оставались недвижимыми, словно сказанные Куравлёвым слова она не сразу поняла.

Она медленно повернулась к нему и спросила:

— Зачем?

— Командировка. Посылает газета.

— Зачем тебе ехать?

— Хочу написать об этой войне. Там нет писателей, и никто не напишет об этой войне. А я напишу.

— Зачем? Тебя убьют. Я больше никогда тебя не увижу. Боже мой, какая несчастная судьба! От меня все уходят!

— Я вернусь, и мы будем вместе.

— Там ты встретишься с моим мужем, с Андреем. Вас убьют обоих. Не езд, умоляю!

— Еду ненадолго, на месяц.

— Что ж, поезжай, — вяло сказала она. — Поезжай. — Голос её стал тусклым, и вся она померкла, погасла, хотя только что сверкала своей красотой.

Куравлёв увидел, как в зал вошли Макавин и Петрова. Макавин пробирався к столику крадучись, виновато, не глядя в сторону Куравлёва.

— Пойдём погуляем, — сказала Светлана. — Что-то мне душно. Должно быть, я много выпила.

На улице мело. Под фонарями летело, мелькало. Окна домов мутно желтели. На плечах и шапках прохожих белел снег.

Они спустились к Тверскому бульвару. Памятник Тимирязеву одиноко высился в снегопаде. На голове у него сидел белый колпак. Они шли по бульвару туда, где далеко сквозь деревья сверкала Пушкинская площадь. Останавливались, и он её целовал. Её губы были вялые, не откликались на поцелуи, глаза закрыты.

В стороне за оградой мутно белела церковь. В церковном оконце теплился огонёк.

— Я хочу зайти в церковь, — сказала она. — Я грешная, негодная. Я изменяю мужу, который в это время умирает в пустыне. Я хочу увести тебя из семьи. Бог меня за это накажет.

Она потянула Куравлёва в сторону, туда, где светил огонёк.

Церковь была пустой, с погашенными огнями. Только светились несколько лампад, и догорали в подсвечниках свечи. Но воздух был тёплый, душистый, в нём ещё летало дыхание прихожан, тихое эхо песнопений. В тёмных углах притаились кадильные дымы. Иконостас в сумраке продолжал светиться ликами, крыльями и плащами.

В храме оставалась круглая, как колобок, старушка. Шаркала по полу башмаками. Вынимала из подсвечников огарки и складывала в картонную коробку. Увидев вошедших, пошаркала к ним:

— Пришли помолиться? Молитесь, молитесь. Каждая молитва дорога. Может, вашу молитву Господь и услышит, — она осмотрела Светлану и Куравлёва маленькими синими глазками. Была рада, что после многолюдья, проповеди священника теперь ей никто не мешал наставлять случайную пару.

— Последние времена подошли. Антихрист-обольститель явился. Лицом ласковый, голос — мёд, а на лбу — клеймо. И по всему телу клейма, сквозь одежду не видно. Люди все к нему побежали, поверили, а он, обольститель, их метит, шестёрки на лоб ставит. Вот так-то! — старушка замолчала, словно выжидала, когда её вещие слова лягут в души. — Впереди для России большие беды, многие смерти, неумытые слёзы. Треть народа умрёт от болезней, другая треть перебьёт друг друга, а третья спасётся. От той трети пойдёт новый народ, народ Божий, который будет жить по заветам и на ком не будет клейма. А Антихрист уйдёт и спрячется, чтобы снова прийти и искусить Божий народ. Но Господь его отвадит и прогонит навек в преисподнюю, а России даст царя, и Россия станет жить спокойно, во славу Господа. Вот так! — старушка вздохнула, словно ей стало легче после того, как она пересказала свои вещие мысли другим.

— Я хочу поставить свечку, — сказала Светлана. — Можно купить у вас свечку?

Они отошли со старушкой к конторке. Светлана купила две свечки:

— За тебя и за Андрея, — сказала она. Пошла к подсвечнику, где теплилось несколько огарков. Стала зажигать свечи, неумело крепила их. Куравлёв смотрел, как падают её свечки, как освещён её лоб, пальцы, рукав меховой шубки. Свечка снова упала, и меховой рукав вспыхнул. Куравлёв кинулся к ней. Стянул горящую шубку, кинул на пол, накрыл своим пальто и стал топтать, затаптывал огонь. Светлана в своём красном жакете беспомощно стояла посреди церкви, окружённая дымом. Старушка охала, крестилась:

— Должно, в вас дьявол. Не принимает храм. Ступайте отсюда!

Куравлёв поднял опалённую шубку. Помог Светлане одеться. Надел пальто. Повёл Светлану из храма. Она едва шла, висела на его локте.

Они поймали такси, и Куравлёв отвез Светлану домой. Дома она бесильно легла на диван.

— Я тебя попрошу, наполни ванну тёплой водой. И помоги мне раздеться.

Куравлёв пошёл в ванную, пустил воду. Дождался, пока шумящая струя перестанет обжигать руку. Вернулся к Светлане. Она лежала бледная, с тёмными винными губами.

— Должно быть, и впрямь во мне дьявол. Все от меня бегут. И в церкви мне нет места. Раздень меня и отнеси в ванну.

Он помог ей раздеться. Отнёс на руках в ванну и бережно, как ребёнка, опустил в воду. Закрыл кран. Вода успокоилась. Только слегка колыхалась от её дыхания, и бежали круги от редкой, падающей из крана капли.

Куравлёв смотрел, как она лежит в ванне. Её золотые волосы потемнели от воды. Глаза закрыты. Казалось, она спит. Куравлёв сквозь воду смотрел на её девичью грудь, на дышащий живот, на острые плечи и длинные бессильные ноги. Она была так красива, так беззащитна, так дорога ему. Такая боль и любовь к ней были в нём. Он наклонился и поцеловал ее пальцы, лежащие на краю ванны.

— Я пойду, — сказал он.

Она слабо кивнула. Он оделся, лязгнув дверным замком, вышел в снег.

Мело, холодало. Куравлёв шёл в московской метели и думал, как неожиданно появилась в его жизни эта прекрасная и надломленная женщина. Ждут ли их впереди потрясения или несказанное счастье? И что предвещал этот огонь в церкви, где она так и не сумела поставить две задрванные свечки?

Глава десятая

До поездки в Афганистан оставались дни. Куравлёв торопился уехать. Его ожидала загадочная страна с верблюдами, горными ледниками, смуглыми мужчинами в цветных тюрбанах, с женщинами, скрывавшими под паранджой пленительные тела. Его ждала война, опыт, прежде не ведомый, который он использует для написания своей главной книги.

Он хотел оказаться в горах, где побывал Рёрих и написал свои мистические закаты, высеченные в скале огромные статуи, духов пустыни и духовидцев-отшельников. Куравлёв мечтал увидеть азиатскую страну глазами Верещагина, где переливаются изразцами мечети, блестят кривые сабли воинов, с минаретов кричат певучие муэдзины.

Эта война в его воображении напоминала романтическую испанскую войну. Там, как и в Испании, накануне кромешной схватки сошлись будущие враги. Война неотступно следовала за народами. Его страна непрерывно, из века в век воевала. И он хотел отобразить эту войну, не дать ей потеряться среди бесчисленных не запечатлённых войн.

Его томили предчувствия, мучили страхи. Он ехал в страну, где стреляют, на войну, где его могут убить. Эти предчувствия были похожи на тягучую боль, унылую печаль, на расставание с жизнью. Он стыдился этих страхов, стыдился своего малодушия. Утешал себя тем, что, должно быть, и отец, отбывая под Сталинград, испытывал те же предчувствия, которые оправдались. Отец был убит в одном из бессчётных боёв, и могила его поросла бьельём.

Куравлёв хранил яркое воспоминание детства, когда проснулся в ночи, и в этом кратком пробуждении увидел в дверях мать в ночном уборе и рядом с ней неизвестного военного в солдатских обмотках. Он удивился ночному незнакомцу и тут же уснул. Только позже, годы спустя, понял, что это был отец перед уходом на фронт.

В страстных нетерпеливых ожиданиях и в тайных предчувствиях шли последние дни Куравлёва перед поездкой на афганскую войну.

Жена Вера собирала чемодан. Умело, как только она могла, укладывала вещи, используя в чемодане каждый уголок.

— Возьми ещё одну чистую рубашку. Там пыль, песок.

— Не надо. Мне выдадут форму.

— И свитер второй возьми. Там же зима.

— Надену зимний бушлат.

— Возьми коричневые туфли. У них подошва потолще. Там же камни...

— Ну, туфли положи, я согласен.

Жена стояла, забыв опустить в чемодан туфли:

— Зачем ты едешь? Ведь у тебя семья, дети. О нас ты подумал? Никуда тебя не пуццу!

Куравлёв обнял Веру за плечи:

— А помнишь, что я тебе сказал, когда мы решили пожениться? Я сказал, что буду с тобой навек. Никогда не покину. Но ты станешь меня отпускать во все поездки. Мое писательство требует непрерывных путешествий. Помнишь?

— Помню, — обречённо сказала Вера, опуская туфли в переполненный чемодан. В комнату вошли сыновья. Старший — Степан — подвижный, крепкий, с гибкими молодыми движениями. Казалось, ему не хватало свободы, и он искал её в спорах, в спорте. Был похож на птицу, готовую покинуть ветку. Птица то вытягивала шею, готовая взлететь, то вновь замирала. На его свежем темновобровом лице был виден пушок, еще не ведавший бритвы. Младший — Олег — имел круглое ясное лицо с вопрошающими глазами, в которых ещё не было иронии, отрицания, какая появилась в глазах Степана.

Братья ладили между собой, лишь иногда вступали в перепалки, начало которых таилось в далёком детстве.

— Папа, правда, что война, на которую ты уезжаешь, грязная? — Степан спрашивал вызывающе, будто уже знал ответ и желал испытать искренность отца. — Мы напали на незащитный народ, который даёт нам отпор?

— Мы защищаем своё государство. Американцы хотят превратить Афганистан в оплот, с которого станут откалывать от нас Таджикистан и Узбекистан, — без особой убеждённости ответил Куравлёв.

— А правда, что наши самолеты и танки стирают с лица земли мирные кишлаки с женщинами и детьми? Как американцы во Вьетнаме.

— У армии нет такой цели. В некоторых кишлаках скрываются банды, и приходится с боем брать эти кишлаки.

— А прав академик Сахаров, который говорит, что наши вертолёты расстреливают наших солдат в окружении, чтобы они не попали в плен?

— Об этой войне демократы складывают много отвратительных небылиц, чтобы разжечь ненависть людей к своему правительству. Это одна из этих небылиц. — Куравлев начинал раздражаться расспросами сына, которого уже коснулось неверие, царящее среди молодёжи.

— Я тоже хочу попасть в Афганистан и всё увидеть своими глазами, — сказал Степан.

— Ты сначала доучись. Дотяни два года. А потом посмотрим.

— Не стану доучиваться. Тоска. Мертвечина. Я курсовую работу задумал — электромобиль. Провёл расчёты, построил модель. Мне отменили тему. Заставляют разрабатывать асфальтовое покрытие с использованием старых автомобильных покрышек. Уйду из института.

— Стёпка лентяй. У него нет глубоких увлечений, — сказал младший Олег.

— Молчи, энтомолог! — шикнул на него старший.

— Энтомология — наука, в которой могут преуспеть только очень умные и трудолюбивые люди, — съязвил Олег.

Он собирал бабочек. Над его столом висела застеклённая коробка с подмосковными капустницами, шашечницами, переливницами, перловицами, траурницами и адмиралами. Он изловил их на даче, днями пропадая в окрестных лесах и лугах. Он читал книги по энтомологии. Часто открывал определитель бабочек, изданный в Англии, с великолепными цветными фотографиями бабочек Африки, Азии, Латинской Америки.

— Папа, поймай для меня в Афганистане бабочку.

— Вряд ли у меня для этого будет время. Да и зима, какие бабочки?

— Я читал, что в Афганистане есть зоны субтропиков. Там тепло, цветы и водятся бабочки. Особые афганские аполлоны.

— Не приставайте к отцу. Дайте ему собраться, — жена застёгивала плотно набитый чемодан, тяжело его перевёртывая.

Куравлёв ушёл в кабинет. Дождавшись, когда жена хлопочет на кухне, позвонил Светлане.

— Ну вот, уезжаю. До встречи.

— До встречи, — тихо сказала она.

— Я буду скучать. Люблю тебя.

Она помолчала:

— Приезжай. — И только. Таково было их прощание.

К ночи за Куравлёвым пришла из газеты служебная машина. Дети спали, он поцеловал жену, вышел в морозную московскую ночь и помчался в Домодедово. Он дремал в самолёте под металлический рокот турбин. На крыле вспыхивал и гас габаритный огонь. За хвостом самолёта летели, запутывались и распутывались, как бесконечная пряжа, воспоминания и предчувствия. Отец, молодой и прекрасный, в красиво повязанном галстуке, к его плечу приникла мама, исполненная чудесной женственности. Светлана с винными губами подносит свечу к подсвечнику. А вот она лежит в автомобиле, раздетая, в свете налетающих фар, как серебряная вспышка. Жена, молодая, среди бирюзового моря, и в волнах пыли два красных оленя. Макавин, его чуть раскосые глаза и уральские скулы, когда вместе потешались над Сергеем Михалковым, его заиканием, его дурацкими шуточками.

Куравлёв уснул и проснулся, когда в иллюминаторе сиял перламутровый рассвет, и самолёт шёл на посадку в Ташкенте. Здесь Куравлёва ждала пересадка на другой борт, который через хребет перенесёт его в Афганистан.

Глава одиннадцатая

Плыли белёсые, медленные горы, далёкие голубые ледники. Самолёт уныло тянул, словно повис в солнечной слепой высоте, в сонливом безвременье. И вдруг слабый толчок, лёгкий крен. Самолёт стал мягко ложиться на крыло, делая разворот, и казалось, разворот не кончается, самолёт описывает круг. Горы стали ближе, их пепельные склоны окружали самолёт, который снижался по спирали, ввинчивался в тесное пространство гор. И вдруг мелькнула земля, странное, похожее на каменное солнце строение. Сочно блеснула вода. Замелькали клетчатые поля, сшитые из цветных лоскутов. Изумрудно-зелёные, бархатно-чёрные, бледно-розовые, они были вставлены в оправы неровных изгородей. Плоские крыши домов, крохотные, как соты, дворики, груды оранжевых плодов на плоских крышах.

Земля казалась слепленной, сшитой, скрепленной умелыми пальцами. Живая, восхитительная, неведомая, влекла неповторимостью своих полей и жилищ. Звала к себе Куравлёва, и он робел, ликовал, изумлялся, словно встретился с чем-то загадочным и чудесным.

На кабульском аэродроме к нему подошёл офицер в полевой форме. По виду — из штаба, так аккуратно, разглаженно выглядел его камуфляж.

— Майор Торобов. Приказано вас встретить, Виктор Ильич, определить в гостиницу, а завтра утром доставить к командующему.

На военном “УАЗе” они покинули аэродром и отправились в Кабул. Куравлёв жадно смотрел на дорогу. Глухие глинобитные стены, мальчишки пускают змея, худые, с красноватыми лицами люди в шароварах и просторных накидках что-то копают, взмахивая кирками. На обочине стоит запылённая боевая машина пехоты, на броне лениво откинулся солдат без головного убора с белёсой головой.

Куравлёв собирал крохи первых впечатлений, складывал их в копилку, откуда извлечёт, когда сядет за книгу. Стоял декабрь, но воздух был сух, поля бесснежны, небо ярко-голубое, глиняные постройки казались сухими, звонкими. Город возник внезапно, шумно, с чёрной густой толпой. Улицу теснили горы, склоны были в бесчисленных лепных ячейках, похожих на ласточкины гнёзда. Над ними стояла дымка — дыхание жилищ, в которых притаилась невидимая жизнь.

Куравлёву хотелось рассмотреть толпу, разглядеть узкую, уходящую в гору улочку, по которой катила повозка. Но машина свернула и остановилась перед гостиницей вполне европейского вида с латинской надписью: “Кабул-отель”.

— Вот ваш номер, Виктор Ильич. В восемь утра буду вас ждать в холле, — офицер отдал честь и ушёл.

А Куравлёв принял душ, развесил в шкафу рубашки и устремился на улицу. Та самая людная улица, ошеломляющая своей восточной неповторимостью,

была сразу за углом отеля. Куравлёв, едва вышел, погрузился в горячий вар чёрных бород, красных лиц, лавок с жестяными вывесками и кудрявыми надписями. Люди шли по обеим сторонам улицы, их чёрные бороды, загорелые красные лица, бурлящие шаровары, развевающиеся накидки окружили Куравлёва. Не давали остановиться, утягивали в неведомую глубину, откуда во все века исходили народы и куда, проделав земной путь, удалялись.

Он смотрел на брадобрёя, что сидел на сундучке, держал за нос покорного человека и водил лезвием по его голой шее. Чистильщик обуви метал взад и вперёд щётки, натирая до блеска стоптанные башмаки. Водоноши с бурдюками подходили к водокачке, наполняли кожаный мешок, отчего становились видны обрубки бараньих ног. Водоноша взваливал на спину литой бурдюк, жидкий, как с набухшими венами, тащил бурдюк на гору, где была сушь. И другой водоноша подходил к водокачке, тощий, жилистый, подставлял бурдюк под хлещущую струю.

Куравлёву всё казалось в диковину. Пробежал рикша, запряжённый в двуколку. На голове — какая-то тряпка, а двуколка нагружена литыми мешками, в которых либо мука, либо зерно. Чернобородый прохожий ел на ходу арбуз, его белые зубы вонзались в алый полумесяц арбуза, и тёмные косточки вместе с розовым соком летели на землю. Две молодые женщины в коротких юбках, с открытыми лицами, чернобровые, с тонкими прямыми носами, поражали особой резкой и даже жестокой красотой.

Всё было внове, прежде не видано. Но Куравлёв испытывал странное чувство, что уже прежде знал об этом городе, мечтал о нём, видел во сне. Этот азиатский мир был ему родным, был старинной забытой родиной. Был мечтой, сказкой, тайным влечением, и не только его, а многих русских, которые оставляли свои избы и просёлки и шли на восток, чтобы увидеть вот такую же маленькую кибитку, украшенную цветами, изображением птиц и животных, запряжённую мускулистым возницей. Не война, а тайное влечение, как картинка в сказочной книге, привело сюда Куравлёва, делало этот город родным и желанным.

Он достиг реки. Грязная набережная спускалась вниз к глинистому берегу. Река бежала мелкая, серая, пахнущая нечистотами. Женщины на берегу мыли клубни картофеля, помидоры, морковь, перья лука с белыми головками, складывая вымытые плоды в ящики, на продажу. Куравлёв вспомнил стих Киплинга “Брод через реку Кабул”. Но не было английской кавалерии, перебредаящей реку, метких стрелков, плывущих по течению мёртвых лошадей и наездников.

За рекой открывалась площадь с огромной мечетью и зелёным, переливчатым минаретом. Площадь шевелилась, гудела. Так шевелится, опадает сочными комьями пчелиный рой. Куравлёв шёл мимо лотков, за которыми торговцы предлагали четки из лазурита и цветного стекла, стеклянные сосуды небесной лазури — изделия стеклодува, складные ножи с деревянными ручками, картонные арабески с летящими в небесах крылатыми конями, всадниками и затейливой арабской вязью.

Всё нарядно, шумно, с едкой азиатской музыкой. Не было войны, солдат, бронжилетов, а были раскатанные по земле ковры с чёрно-красным узором, и люди ступали на эти ковры, мяли, топтали, разминая жёсткие шерстяные узелки.

И вдруг Куравлёв поймал на себе взгляд. Смотрел молодой мужчина в чёрной чалме, жгуче, с огненной ненавистью, держа под накидкой руки, быть может, с ножом. Куравлёву стало жутко одному среди чужой толпы, которая расплавит его в своей горячей смоле, и он канет бесследно.

Куравлёв повернулся и пошёл обратно в отель, не оглядываясь, боясь увидеть огненные ненавидящие из-под чёрной чалмы глаза.

Утром в холле его ждал майор Торбов. На машине они проехали длинную улицу, которую майор назвал Дар-уль-Амман, с мастерскими, лавками, утлыми глинобитными хижинами. Оказались за городом, где в солнечных холмах красовался жёлтый, как мёд, дворец. Тот самый, где был убит президент Амин. Теперь во дворце располагался штаб Сороковой армии.

Куравлёв был представлен командующему. Невысокий, с обветренными губами, выгоревшими на солнце соломенными усами, командующий подвёл Куравлёва к карте:

— Через день начинается войсковая операция в Шинданте. Дивизия выдвинется в район Мусакалы. Это база моджахедов, которая контролирует часть провинции. Там же находится тюрьма, где содержатся наши пленные. Глава моджахедов Мулла Насим. Его не удаётся ликвидировать, и, по данным разведки, он находится в Мусакале. — Командующий перестал водить указкой по зелёно-коричневой карте, где были нанесены очаги сопротивления, значились имена племенных вождей и численность банд. — Операция начинается завтра. Сегодня в Шиндант идёт борт. Если хотите, можете полететь.

— Хочу. — Куравлёв был рад, что сразу, без проволочек окажется в районе боевых действий.

— Майор Торобов будет вас сопровождать. Желаю удачи.

Они успели заскочить в отель, Куравлёв взял несколько нужных в походе вещей. Через час они садились в четырёхмоторный транспорт с закопчёнными двигателями и уже летели над горами в Шиндант.

Кругом была сухая жёлтая степь. Командование дивизии размещалось в старых казармах. На пыльном плацу развевался линейный красный флаг. В стороне сушилось бельё. Перед входом в каменный дом на верёвке был привязан баран. Его узкая морда с маленькими тоскливыми глазками повернулась, когда Куравлёв проходил мимо.

Начальник штаба был замотан, то и дело звонил телефон, входили офицеры.

— Извините, полковник Романов, — начштаба недовольно взглянул на Куравлёва. — Комдив на марше. Завтра мы вас представим. Утром пойдёт вертолёт. Пока располагайтесь в гостинице. — И полковник Романов забыл о Куравлёве, зло набросился на вошедшего офицера.

На складе выдали тёплый бушлат, брюки, шапку с козырьком — “чепчик”, как назвал её прапорщик.

Вечером с майором Торобовым они пили чай в гостинице. Из окна была видна вечерняя краснеющая равнина. В капонирах стояли боевые машины пехоты, направив орудия в степь.

— Какая обстановка? — спросил Куравлёв майора. — Какая она, война?

— Воюем потихоньку. Конца не видно.

— Побеждаем?

— Сидим в городах. Все кишлаки у противника. На дорогах наши заставы. Днём проводим колонны, ночью “духи” выходят, минируют бетонку. Мы утром мины снимаем, проводим колонны, а ночью опять минируют. Так и воюем.

— А купить нельзя? Они же продажные.

— Даём и деньги, и оружие. Они грузовик автоматов получают, благодарят, в дружбе клянутся, а потом из этих автоматов наши колонны расстреливают.

— А этот Мулла Насим что за фрукт? Удастся его уничтожить?

— Едва ли. Они за неделю знают о начале операции. Пока мы дивизией до Мусакалы доберёмся, он из кишлака в горы уйдёт и народ уведёт. Операция впустую. Для устрашения, как говорится.

— Что же, у них такая разведка сильная?

— Везде глаза. Мы языка берём, потрошим, иной раз, чего греха таить, током пытаем. А он, едва жив, выдает дезинформацию. Вот как недавно... — Майор замолчал, словно жалел, что раскрылся едва знакомому человеку.

— Что недавно? — выпрашивал Куравлёв.

— Взяли языка, из автобуса вытащили. Мурыжили его, всю печень отбили. Просили указать, в каком кишлаке укрывается Мулла Насим. Наконец, указал кишлак. Посадили его в вертолёт: “Показывай!” А он навёл вертолёт на “дружескую банду”, ну, то есть на тех, что есть на тех, что нам в дружбе клялись. Мы с вертолёта кишлак в пух разнесли. Когда обман открылся, выбросили его из вертолёта.

Майор неторопливо отпивал чай. За окном темнело. Боевые машины пехоты были почти не видны.

— А что в Союзе? — спросил майор. — Отсюда непонятно, что там творится. Когда уходили воевать, называли героями, сынами Отечества, а сейчас чуть ли не палачи. Куда Горбачёв смотрит?

— Нам тоже не всё понятно. Должно, скоро войска начнут выводить.

— И я так думаю. Тогда зачем людей губить? Кишлаки разорять? Ну, это не наше дело. Будем спать, Виктор Ильич.

Они разошлись, и Куравлёв, засыпая, видел, как в Пёстром зале ЦДЛ пьяный Шавкута называет себя лучшим прозаиком России.

Глава двенадцатая

Вертолёт летел низко над трассой. Сквозь иллюминатор Куравлёв видел бетонку, сплошь уставленную машинами, танками, артиллерией. Тяжёлые кунги тянулись один за другим, как неуклюжие слоны. Катили самоходные гаубицы, вытянув тупые стволы. Колонна боевых машин шла, изрыгая серые дымы, похожие на волчьи хвосты. Шли зачехлённые установки залпового огня. Над трассой висела пыль, ветер сносил её в сторону клетчатых возделанных полей.

Куравлёв прижимался к иллюминатору, чувствуя, как дивизия мерно и неуклюже вторгается в хрупкий мир рукодельных полей, гончарных кишлаков, хрустальных струек арыков. Этот хрупкий мир расступался, послушно пускал в свою нежную мякоть железный стержень колонны.

Вертолёт опустился на площадку возле гранатового сада. На жухлых деревьях кое-где висели забытые плоды, коричневые, с вмятинами, словно лепные. Хотелось снять с ветки тяжёлый плод, сломать кожуру и всосать сладкий сок красных зёрен.

Куравлёву казалось, что здесь царит неразбериха. Танки вращаются на месте, едва не задевая друг друга бортами. Два кунга сцепились, мешая один другому проехать. Прапорщики матерились, требуя уступить дорогу. Офицер в танковом шлеме, охрипший, торчал из люка, вызывая по радиации "соседей". Группа сапёров, вооружённых щупами, сошла с бетонки и продвигалась по просёлку.

Рыжий сапёр посмотрел на Куравлёва зеленоватыми глазами и улыбнулся. Он был свеж, с золотой головой, розово-белыми щеками, гибкий, ладный, втыкал щуп в мягкую землю.

— Откуда? — спросил Куравлёв, любуясь парнем.

— Мы из Воронежа. В Воронеж дорогу чистим, чтобы скорее дойти.

Он с товарищами стал удаляться по просёлку, по-кошачьи ступая, золотая голова.

С майором Торбовым, который, казалось, отлично разбирался в царящем столпотворении, они перемахнули холм и оказались в спокойном и благоустроенном месте.

— Здесь переночуем в кунге, а завтра с утра на командный пункт, — майор переговорил с суровым прапорщиком, который раздувал паяльную лампу, направляя синее пламя на банку с тушёнкой. — Располагайтесь, Виктор Ильич.

Куравлёв занял верхнюю застеленную койку, но не остался в кунге. Решил осмотреться. Майор куда-то пропал, и Куравлёв двинулся среди холмов.

В ложбине была развёрнута связь. Стояли грузовики, работали дизели. В небе висели сети антенн, штыри, овалы и ромбы. Чашы были направлены все в одну сторону, туда, где за горами и реками находилась Москва. С ней дивизия связывалась через космос. За операцией следили в штабе армии, в Министерстве обороны, в военных отделах ЦК.

Куравлёв мысленно поместил себя в чашу антенны и послал свой образ через спутник жене Вере, приятелям в Доме литераторов и Светлане, которая в эту минуту смотрела на синюю вазу и думала о нём.

Куравлёв поднялся на соседний холм и увидел батарею самоходных гаубиц. Гусеничные машины холодно отливали под вечернеюющим небом, их

стволы были нацелены туда, где, невидимая, находилась Мусакала. Куравлёв ощутил всю тяжкую мощь артиллерии, готовой рвать на куски хрупкие строения с людским скарбом, месить поля с посевами, отрывать от земли зёрна с корешками и пучками зелени. В стороне стояла батарея “Ураганов” — связки труб на грузовиках, рядом двигались люди.

Куравлёв представился офицеру.

— Вы бы отошли и уши закрыли, — предостерег офицер. — Сейчас сделаем залп.

— По каким целям? — спросил Куравлёв.

— По горе. Разведка докладывает, там замечена группа. Приказано уничтожить.

Далёкая гора поросла лесом. Там, подумал Куравлёв, мог скрываться Мулла Насим.

От установки отбежали люди. Некоторые присели и закрыли уши руками. Ахнуло, тряхнуло, полыхнуло огнём. Из труб рванула белая плазма, понеслась к горе, прожигая в воздухе длинные русла, по которым с воем катилась огненная река. На далёкой горе зачернели взрывы. Офицер смотрел в бинокль. Трубы установки остывали. На земле оставались рыжие пятна гари.

— Поразили цель? — спросил Куравлёв.

— Так не скажешь. Если попали под залп, одни угольки.

Это был первый боевой эпизод, который Куравлёв поместит в свою книгу. Не знал, куда, но там будут харкающие плазмой тубы, огненные реки, жёлтые залысины выжженной земли.

Он двигался в холмах, наблюдая работу военных. Кололи дрова, что-то чинили в машинах, рыли землю, тянули телефонные провода. У палатки с красным крестом санитары раскладывали носилки. Военврач в очках расставлял какие-то склянки.

— Ожидаются большие потери? — Куравлёв представился, заметив настороженность военврача.

— Потери всегда бывают. Не такие, когда прочёсывали “зелёнку”. Тогда был поток. Теперь “зелёнку” приказано не чистить, потери снизились.

Раздался далёкий надсадный вой. Приблизился. Из-за холма, взрезая гусеницами склон, появилась танкетка с красным крестом. Остановилась у палатки. Задние двери раскрылись. Два солдата вытянули носилки с телом, которое было накрыто бушлатом. Бегом, потряхивая носилки, вбежали в палатку.

— Кто? — спросил военврач.

— Подорвался. Две ступни напрочь.

Куравлёв заглянул в носилки. Там лежал рыжеголовый сапёр. Его золотая голова была пепельной, грязной, лицо серое, в брызгах крови. Глаза с рыжими ресницами закрыты. Он слабо вздрагивал грудью.

— На стол! — приказал военврач. Санитары внесли сапёра в палатку, положили на стол. Стянули бушлат. Куравлёв увидел две ноги, укороченные, в комьях бинтов, сквозь которые проступила кровь. Вид красных обрубков, серое лицо в брызгах крови... Куравлёва качнуло, и он вышел из палатки, пошёл к кунгу.

Глава тринадцатая

Дивизия, словно многолапый зверь, разлеглась в холмах.

Наутро Куравлёва и майора Торובה доставили на командный пункт. Он размещался в траншее, выстланной по брустверу брезентом. На брезенте стояли полевые телефоны, рации, лежали бинокли, высилась бинокулярная труба. Траншея была полна офицеров, которые связывались с аэродромом, артиллерийскими батареями, с блокпостами. Кричали в трубки, мешали друг другу, прикрывали трубки ладонями.

Траншея проходила по срезу холма, ниспадавшего в просторную долину. Блестела река, виднелись наделы. По другую сторону долины волновались холмы. На них виднелись блокпосты, боевые машины пехоты. В отдалении, где долина, начинало туманиться, что-то нежно белело, дышало, мерцало.

То была Мусакала, похожая на драгоценный цветок, выросший среди вод и небес.

Командир дивизии, невысокий, загорелый генерал с выцветшими волосами, спросил у Куравлёва, хорошо ли тот устроился.

— Благодарю. Разрешите присутствовать? — Куравлёв кивнул на траншею.

— Пожалуйста, — сказал генерал и тут же отвлекся, принимая доклад офицера.

Куравлёв и Торобов поместились в дальнем углу траншеи, где выкрики позывных, хриплые команды, то и дело звучащая брань сливались в неразборчивый гвалт.

Куравлёв осматривал окрестность. По холмам переваливались неповоротливые боевые машины разминирования. Вдалеке мчалась колонна БМП. В низине среди блеска реки катила машина с репродуктором, звучали гулкие неразборчивые слова. И всё это надвигалось на бело-розовый цветок, беззащитно раскрывший свои лепестки. За машиной с динамиком двигалась гурьба в шароварах и накидках, у некоторых автоматы.

— Кто такие? — спросил Куравлёв.

— “Партизаны”, так их у нас называют. “Дружественные бандиты”. Кишлак обрабатывают артиллерией, а их пускают на зачистку. Они и чистят все сундуки.

— А что говорят в мегафон?

— Психологическая обработка. “Граждане декхане, просьба покинуть кишлак”. И всё такое.

Гулкий металлический рокот двигался к Мусакале. Машина толкала железный звук. Гурьба “партизан” не обгоняла звук, следовала за машиной. Машина достигла невидимой черты, умолкла и покатила обратно. Звук продолжал лететь, ощущивал кишлак железными пальцами.

— Сейчас нанесут бомбоштурмовой удар. — Торобов, казалось, уловил среди неразличимого гвалта сильный голос начальника авиации, который вызывал самолёты:

— “Баклан”, “Баклан”, я “Беркут”!

Куравлёв смотрел в высокое небо, которое своей синевой переливалось в изразцы мечетей, в лазурные вазы стеклодувов. Эта пустота была прекрасна, взрастила волшебный цветок, что распустил свои белые и розовые лепестки. Куравлёв услышал едва различимый звон, возникший в глубине синевы. Два мимолётных проблеска мелькнули на солнце. Самолёты рассыпали белые пучки ложных целей и скрылись.

А внизу тяжко ахнуло. Из кишлака поднялись два дымных столба, закачались на тонких ногах, словно хотели сохранить равновесие.

— Сейчас пойдут вертолёты! — Торобов предсказывал ход операции, которая имела свою непреложную логику, словно была из учебника; рассказывал, как следует уничтожать города. Офицеры в траншее гудели, бурлили, были поглощены упорной задачей, как уничтожить кишлак, затоптать цветок.

С тихим треском над долиной появились два вертолётца. Удалились к Мусакале. Сделали медленные красивые развороты и хищно, страстно прыгнули вниз. Из-под рыбьих голов брызнули чёрные острия. Так выплевывают чернила каракатицы. В кишлаке прошелестели взрывы. Вертолёты кружили над кишлаком, словно высматривали среди дымов цель. Вновь прыгнули чёрные острия. Прошелестели, прохрустели взрывы. Что-то горело, поднималась жирная сажа. Вертолёты ушли, а в воздухе медленно таяли чёрные трассы.

— Ну, теперь артиллерия, бог войны! — Торобов взволновался, порозовел. Он тоже участвовал в истреблении кишлака. Не отдавал команды, но его воля, страсть торопили это разрушение.

По холмам покатился грохот. То слышались отдельные орудия, то рокотала вся мощь дальнобойных гаубиц. Мусакалы не было видно. Там, где недавно что-то нежно белело и розовело, теперь бурлили рыхлые взрывы. Снаряды терзали кишлак, крошили, вырывали с корнем.

Куравлёв испытывал муку. Он присутствовал при истреблении восхитительной неповторимой жизни, которую ему не дано было узнать, а его прикосновение к этой жизни обрекало её на гибель.

Прогрохотало и смолкло. Там, где находился кишлак, стояло пыльное грязное облако.

— Теперь “прочёска”. Пойдут “партизаны”. Что не сгорело, разграбят. — Торобов облегчённо вздохнул, словно завершил утомительное дело.

Гурьба разношёрстных людей вновь появилась, двинулась, нестройно гомоня, вдоль реки к дымящему кишлаку.

— Я с ними! — сказал Куравлёв, вылезая из траншеи.

— Куда вы, Виктор Ильич? Опасно!

— Хочу увидеть своими глазами.

Куравлёв спустился с холма в долину. С ним Торобов и два автоматчика. Они двигались к Мусакале, окружённые гомонящим людом. Высокий худой афганец в чёрной чалме улыбался Куравлёву, встряхивая автоматом, приглашал Куравлёва радоваться победе. Другой белозубо улыбался, прикладывал ладонь к груди, повторяя: “Шурави! Шурави!”

Они перебредали мелкую реку, широко, множеством русел наводнившую долину. Навстречу брела корова. Шатко переставляла ноги в воде, останавливалась, качала головой, будто её оглушили. Она шла из кишлака, контуженная взрывной волной. Афганец с автоматом прицелился, выпустил очередь. Корова плюхнулась боком. Не двигалась. Её омывала мелкая вода. Несколько афганцев кинулись к ней, доставая ножи. Проходя мимо, Куравлев увидел коровью голову, утонувшую в воде. Сквозь прозрачную воду был виден открытый печальный коровий глаз.

Они вошли в кишлак. Глинобитные стены, такие же глиняные башни с бойницами, дома с плоскими крышами — всё было разбито, сквозило дырами, развалилось на глиняные глыбы. Деревянные перекрытия ещё дымились. “Дружественные бандиты” кинулись в дома, тащили наружу ткани, ковры, выносили самовары, медные чайники. У разгромленных ларьков собирали по земле часы, уцелевшие кассетники. Кругом была беготня, радостные крики. Открывали сундуки, совали в мешки халаты, платья. Разрушенный снарядами кишлак открывал спрятанные от глаз дворы, где рос виноград, стояли повозки, была разбросана домашняя утварь.

Куравлёв боялся заходить в дома. Боялся этого неистового страстного грабежа. Мечеть, та, что издали казалась белым цветком, была разрушена прямым попаданием. Тлели ковры, ветер шевелил страницы книги. Куравлёв испытывал острое любопытство писателя, которому война показала скрытую изнанку жизни. Война распорол чехол и вывернула наружу потаённую подноготную жизни. Теперь эта жизнь, изуродованная, беззащитная, явилась его острому, всё подмечавшему взгляду. Лоскутное одеяло, усыпанное ломтями глины. Столбики террасы, увитые виноградной лозой с сухими коричневыми листьями. Повозка, разукрашенная рисунками листьев, цветов, верблюдами и стоящими на одной ноге цаплями.

Он вдруг почувствовал страшную слабость, вялое бессилие, будто из него истекли все духовные силы. Торобов и автоматчики следовали за ним. Торобов негромко матерился.

Улица расширилась, превратилась в подобие площади. Кругом были лавки. Взрывы расшвыряли по площади коробки чая, апельсины, грецкие орехи. Куравлёв увидел на земле калошу, блестящую, с загнутым носом, высланную внутри алым. Эта оброненная калоша говорила о бегстве впопыхах, столь быстром, что не хватило секунд, чтобы подобрать соскочившую с ноги калошу.

Он повёл глазами вперёд, на площадь. Глаза испугались чего-то. Он снова посмотрел на калошу, и снова на площадь. И уже не мог отвести ужаснувшийся взгляд. На площади были врыты два столба. Между ними протянута жердь. К этой жерди, с заломленными локтями, были привязаны четыре русских солдата, изуродованных взрывами. У одного осколком снесло половину головы, и виднелся мозг в кровавых сосудах. Другой был смят взрывной волной, бесформенно обвис, его глаза выдавились из головы с огромными, как

курунное яйцо, белками. У третьего не было обеих ног, висели чёрные, пропитанные кровью лохмотья. У четвертого не было руки, из плеча торчала сломанная кость.

Куравлёв вдруг ошеломлённо подумал, что пикирующие самолёты, атакующие вертолёты, удары гаубиц убивали этих пленных солдат, и вся операция по уничтожению Мусакалы свелась к убийству этих солдат.

— Мать честная! — ахнул Торобов. — Тут у Муллы Насима была тюрьма, держали пленных. Сами ушли, а пленных оставили!

Послышался металлический лязг. На площадь ворвались две боевых машины. Встали. С передней прыгнул комдив. Смотрел на убитых, боясь подойти. На его лице скулы ходили ходуном. Мимо бежали возбуждённые мародёры, подбирая на ходу банки с чаем.

Куравлёва на боевой машине пехоты вывозили из кишлака. На блокпосту он попросил остановиться.

— Кто-нибудь из кишлака выходил? — спросил он прапорщика, сидящего на башне.

— Никого. Только раненые собаки уходят.

Мимо пробежала собака с окровавленным боком, за ней другая проковыляла на трёх лапах.

— А из людей никого, — сказал прапорщик.

Переехали мелкую реку. На берегу горел огромный костёр, толпились люди.

Держали над огнём насаженную на кол корову, медленно поворачивали.

Поздно ночью Куравлёв вернулся в Кабул. Засыпая в номере, видел блестящую чёрно-алую калошу с загнутым носом.

Глава тринадцатая

Утром Куравлёв позвонил в редакцию “Литературной газеты”. Стенографистка записывала его репортаж. Он рассказал о разрушении Мусакалы, о рыжем сапёре, о реактивном вое “Ураганов”, о бомбоштурмовых ударах, о пленных, которых Мулла Насим использовал как “живой щит”. Рассказал о войне без прикрас, умолчав о минутах тоски, о корове, чей меркнувший глаз смотрел на него сквозь воду, и о чёрно-алой калоше, которая предшествовала зрелищу убитых солдат.

Через день репортаж появится в газете, и люди узнают об афганской войне из уст фронтового писателя.

В назначенный час появился майор Торобов. Сообщил, что желание Куравлёва познакомиться с работой спецназа удовлетворено. Но ему придётся лететь в Кандагар одному. В кандагарском аэропорту его встретят, посадят в вертолёт и доставят в Лашкаргах, в “Лошкарёвку”, как говорили военные. Там базируются батальон спецназа, перехватывающий караваны с оружием.

Куравлёв летел в Кандагар на транспорте, где, помимо него, находились два прапорщика, переправлявшие в часть двигатель БТРа. Перед взлётом Куравлёву выдали парашют, он набросил лямки, чувствуя спиной твёрдую упаковку парашюта. Смотрел в иллюминатор на близкие вершины, покрытые снегом. Снег блестел, как глазированный. Вершины, сменяя друг друга, были похожи на чайные сервизы. Куравлёв представлял, как опустится на парашюте на глазированный наст, который будет хрустеть и крошиться. И вдруг остро, сладко подумал о Светлане, как она танцует, едва не касаясь вазы с синими быками. Устремил к ней своё желание, веря, что его страстная мысль донесёт до неё вид этих снежных вершин, снега с переливами солнца.

В Кандагаре его встретил грузный, усталый, плохо выбритый подполковник. Сообщил, что вертолёт будет только к вечеру. Повёл к зданию аэропорта. Аэропорт имел вид ажурных арок, когда-то сверкавших белизной и хрустальными стёклами. Теперь же стёкла были побиты, на белых арках лежала копоть, виднелись следы осколков.

— Посидим, погреемся на солнышке, — сказал подполковник, усаживаясь на продавленный, вынесенный наружу диван. Куравлёв сел рядом.

В Кандагаре было теплей, чем в Кабуле. Пахло невидимыми цветами. На бетонном поле стояли штурмовики, серые, остроносые, с тусклым блеском кабин.

— Отсюда пятнадцать минут лёта, и, пожалуйста, бомби американские авианосцы в Персидском заливе. Вот они, тёплые моря... — Подполковник был не прочь поговорить.

— Как обстановка? — поинтересовался Куравлёв.

— Лезут из всех щелей. Ты их бьёшь, а они идут и идут. Тащат из Пакистана оружие. Их бьёшь, а они идут.

— Слышал, скоро войне конец?

— Войну начать легко, да трудно кончить. К весне, говорят, начнут выводить полки.

— Здесь, в Кандагаре, мне говорили, самое горячее место?

— А где холодное? Везде нашего брата поджаривают. И в Джелалабаде, и в Кундузе, и в Гардесе, и в Газни. Повоевал, будет что вспомнить.

— Что вспоминать будете?

— Да всякие истории. Вам, как писателю, интересно.

— Какие истории?

Подполковник погладил небритую щёку, и было слышно, как шуршит его щетина. Помолчал, будто из всех бесчисленных историй выбирал ту, которую хотел поведать.

— Под Гератом год назад или больше “духи” сбили вертолёт, который ходил на удары и пожёг кишлаки. Все погибли, второй пилот выжил. Его, раненого, притащили в кишлак и там на верёвке водили, а все камнями в него кидали. Мстили, значит. Его прибили к кресту, две доски крест-накрест. Кастрировали и пустили по реке. Он плывёт, а с берега мальчишки в него из рогаток стреляют. Его подобрала наша, сняли с креста, вылечили. Теперь он где-то в Союзе живёт, из семьи, говорят, ушёл.

Подполковник пошуршал щетиной. Помолчал, словно хотел, чтобы Куравлёв запомнил рассказ.

— Под Файзабадом самое тяжелое место. Туда вертолёт ущельем идёт, а его “духи” с двух сторон обстреливают. Там служить тяжелее всего. Один солдатик не выдержал, перебежал к “духам”, чтоб не воевать. Ротный день ждёт, два ждёт, а на третий на заставу голову солдата подбросили. Не приняли “духи” предателя. Такая история.

Куравлёв слушал рассказы утомлённого службой подполковника. Знал, что когда-нибудь в книге опишет этот кандагарский аэропорт, и продавленный диван, и штурмовики, готовые лететь к тёплым морям, и этого усталого, постаревшего на войне подполковника. И себя самого, не умеющего понять этот ужасный и прекрасный мир.

— А вот ещё, под Газни. БТР с четырьмя солдатиками заглох. То ли горячее кончилось, то ли поломка какая. “Духи” БТР окружили: “Шурави, сдавайся!” Ребята отстреливались, пока боекомплект не вышел. “Духи” из гранатомёта пальнули. Всех оглушило. “Шурави, сдавайся!” А они в БТРе закрылись, не сдаются. “Духи” БТР дровами обложили, бензином облили и подожгли. Ребята зажарились заживо, но в плен не сдались. А каждому лет по девятнадцать.

Подполковника позвали. Он неохотно встал и ушёл, а Куравлёв остался сидеть. Он прикрыл глаза, и солнце Кандагара распушилось на его ресницах павильными перьями.

Ближе к ночи, когда стемнело, его позвали на борт. Рядом с его вертолётom крутил винтами другой, огромный, который военные называли “коровой”. На концах лопастей у “коровы” были габаритные огни, которые очерчивали в воздухе кольцо света.

Куравлёв покидал Кандагар, так и не увидев его рынки, мечети, караван-сарай. С большой высоты он видел висящие над землёй жёлтые, как лимоны, осветительные бомбы, мерцанье разрывов. Там, на ночной заставе, шёл бой. Артиллерия гвоздила по виноградникам, остаткам кишлаков, где прятались моджахеды, пускавшие по заставе реактивные снаряды.

Вертолёт опустил, когда была ночь и сверкали звёзды, светились туманности и весь простор переливался, дышал. Куравлёв загляделся на это великолепие, когда к вертолёту подкатила машина. В свете фар мелькнула тень. Перед ним предстал человек. Отдал честь и назвал себя:

— Командир батальона войск специального назначения майор Пожарский.

Куравлёв почти не удивился встрече. Предчувствовал и боялся её ещё в Москве. Вероятность этой встречи была ничтожна. Среди сотысячного контингента, разбросанного по огромной стране, такая встреча была почти невозможна. И всё-таки Куравлёв знал, что она состоится, что существует загадочная воля, задумавшая эту встречу, завязавшая двух мужчин и женщину в мучительный узел.

— Что ж, поедем в часть, Виктор Ильич. — Майор Пожарский пригласил Куравлёва в машину.

Освещённые фарами, растворились ворота, караульный отдал честь. Машина остановилась, фары погасли, и опять была дивная ночь с разноцветными, словно поющими звёздам.

Темнели строения. Майор провёл Куравлева в комнату, где горела керосиновая лампа. Куравлёв понял, что это жилище Пожарского. Саманные стены из сухой глины. Висящий автомат. Рядом — гитара. Тут же на стене какие-то ремни, постромки с медными бубенцами и кистями раскрашенной шерсти, должно быть, сбруя верблюда.

— Располагайтесь, Виктор Ильич, с дороги поужинайте, чем Бог послал.

Куравлёв ел гречневую кашу с тушёной, запивал из кружки сладким чаем. Его охватила паника. Мучился, презирал себя. Хозяин, который простодушно пустил его в своё жилище, накормил и напоил, не знал, что пустил к себе вора, нечестивца, осквернившего его жизнь. Был порыв подняться, бежать, прервать эту нестерпимую муку. Но это было невозможно. Куравлёв давился кашей, боялся, что выдаст себя. Задал дежурный вопрос:

— Какая у вас обстановка?

Пожарский кратко, будто делал доклад, отвечал:

— Обстановка сложная. Караваны с оружием идут через пустыню, как правило, ночью. На вертолётах нет приборов ночного видения, нет тепловизоров. Большинство караванов из Пакистана пересекают пустыню, уходят в “зелёнку”, где разгружают оружие. Мы работаем днём, и эффективность нашей работы невелика. Завтра с утра мы летим в пустыню. Если пожелаете, увидите всё своими глазами.

— Конечно, я с вами.

Куравлёв смотрел на сидящего перед ним майора. Его лицо было освещено красноватым светом керосиновой лампы. В этом лице чувствовалась жёсткость, почти жестокость, и наивное простодушье, открытость, даже беспомощность. Эта двойственность таилась в уголках губ под белёсыми, полинявшими на солнце усами, на широком лбу с одинокой морщиной, в глазах, которые Пожарский прищуривал, будто боялся, что в них попадут песчинки пустыни.

У Куравлёва возник порыв признаться Пожарскому в своём вероломстве, покаяться, испросить прощения.

— Вы москвич, Виктор Ильич?

— Да, москвич.

— А где живёте?

— В Текстильщиках

— А я на “Академической”.

— Хороший район, — чувствуя свою лживость, сказал Куравлёв.

— Мы с женой выбирали район, когда меняли квартиры. Жена у меня из Севастополя, квартира с видом на море. Поэтому обмен получился удачным.

— Эту саманную квартиру будет трудно поменять на московскую, — жалко пошутил Куравлёв.

— А я надеюсь, что скоро поменяю. Может, к весне состоится частичный вывод полков. Кажется, наша часть попадает под вывод.

— Дай Бог, чтоб попала.

— А я, вы знаете, жду не дожусь. Засыпаю и думаю. Вот проснусь, и я дома. И знаете, что мне снится? Не жена, не друзья, а ваза, которая у нас в доме стоит на полу. Такая большая ваза с нарисованными синими быками. Я её купил в комиссионном магазине. Хотел сделать жене подарок. “Светик, выбери!” Я-то думал, она себе выберет шубу или французские туфли. А она: “Хочу вазу”, — и ни в какую. Пришлось купить. Я её сначала терпеть не мог. А потом привык. Даже песенку сочинил. “Синий бык, синий бык, я к тебе уже привык. Не обижу я быка, его синие бока”. Свете очень понравилось.

В голосе Пожарского звучала нежность, умиление. А Куравлёв вдруг почувствовал к нему острую неприязнь, враждебность. Этот сидящий перед ним офицер видел Светлану нагой, быть может, так же относил её в ванну и любовался ею, восхищался её танцем, целовал маленькие девичьи груди, милую родинку на шее.

Эта неприязнь накатила и схлынула.

— Вы устали с дороги, Виктор Ильич. Давайте спать. Я вам постелил в соседней комнате. Там жил мой зам. Теперь там пусто.

— А где зам?

— Убили.

Куравлёв лежал на кровати, на которой недавно лежал убитый замкомандира. И всё в нём путалось, томило, ушлывало. В эти минуты под звёздами пустыни идут караваны с оружием. Стеклянная вазы с синими быками. Лимонного цвета осветительные бомбы. Шевелящиеся под усами губы Пожарского. Лицо жены Веры, милое, усталое, в вянущей красоте.

Глава четырнадцатая

Куравлёв проснулся, когда в оконце синел рассвет. Вышел наружу. Небо было светлое, предрассветное, студёное. Кругом теснились саманные постройки, видимо, казармы, склады. Стояли бок о бок три БТРа. Сонный караульный, увидев Куравлёва, поёжился и отдал честь.

— Комбат проснулся? — спросил Куравлёв.

— Давно.

— А где он?

— В контейнере. — Солдат куда-то кивнул. Куравлёв направился в сторону кивка и увидел контейнер, наполовину врытый в землю. В таких контейнерах трейлеры перевозят грузы. Дверь приоткрыта, к ней вели земляные ступеньки. Куравлёв спустился, вошёл внутрь контейнера. Сквозь прорубленное оконце лился свет. На табуретке сидел афганец в безрукавке, в мятых шароварах и драной рубахе. Борода всклокочена. На лице синяки от побоев. Грязная чалма съехала на лоб. Глаза, слезящиеся, с жёлтыми белками, испуганно посмотрели на вошедшего Куравлёва.

Перед афганцем, тоже на табуретке, сидел Пожарский. Рукава у него были засучены, виднелись сильные, в жилах, руки. Лицо было серое, злое. Морщина на лбу глубоко проступила. Он недовольно оглянулся на незваного Куравлёва.

Тут же высился огромного роста прапорщик с тяжёлыми кулаками и шрамом на хмуром, точно высеченном из песчаника лице. Ещё на одной табуретке сидел солдат, чернобровый, смуглый, по виду узбек или таджик. У окна стоял стол с полевым телефоном.

— Я не вовремя? — спросил Куравлёв, собираясь уйти.

— Оставайтесь, — сказал Пожарский. — Через полчаса вылетаем. Надо этого хорошенько тряхнуть. — Он повернулся к афганцу: — Скажи, когда пойдёт караван? Когда его ждёте в “зелёнке”?

Таджик перевёл вопрос. Афганец затряс бородой, прижал ладони к растерзанной рубахе, залопотал.

— Говорит, не знает никакого каравана, — перевёл таджик. — Говорит, он мирный человек, собирал хворост в “зелёнке”.

— Лыско, помоги ему вспомнить, — обратился Пожарский к прапорщику. Тот молча, без размаха, ткнул кулаком афганца. Тот слетел с табуретки. Прапорщик рывком поднял его и посадил.

— Скажи ему, пусть укажет место, где принимают оружие. Иначе мы его так прижжём, что запахнет жареным.

Таджик перевёл, афганец молитвенно сложил руки и что-то слёзно произнёс.

— Говорит, не знает никакого оружия. Он мирный человек. Собирает хворост. Дома холодно, дети мёрзнут.

— Согрей его, Лыско, — приказал Пожарский.

Прапорщик подошёл к столу, стал крутить ручку полевого телефона. Афганец затрясся, замахал руками. Что-то слёзно стал выкрикивать:

— Говорит, караван придёт днём, к Нагахану. Он, говорит, мирный человек, лобит шурави. Дома дети мёрзнут.

— Хорошо, проверим. — Пожарский опустил засученные рукава. — Если соврал, ток пропустим. Будет светиться, как “лампочка Ильича”.

Лицо Пожарского, вчера казавшееся Куравлёву мягким, беззащитным, теперь было злым и жестоким.

Пожарский зашёл в свое саманное жилище и вышел с автоматом на плече. Повёл Куравлёва на вертолётную площадку, где их ждали два готовых подняться вертолёта. Около каждого стояла группа спецназа из шести человек. На ногах у них были кеды, на груди — самодельный лифчик со множеством карманов, в которых находились автоматные рожки, гранаты, фонари и другие предметы, необходимые в боевой обстановке. Солдаты разминались, подпрыгивали, гибкие, стройные, похожие на спортсменов. Среди них был замечен прапорщик Лыско, который только что участвовал в допросе афганца.

За вертолётной площадкой находилась свалка со множеством пустых консервных банок. Жесть банок сухо блестела на солнце. Над помойкой кружили грифы, раскрыв широкие чёрные крылья с растопыренными маховыми перьями. Несколько грифов сидело на земле, среди консервных банок. Из могучих плечистых тел поднимались голые розоватые шеи, увенчанные маленькими головами. Головы были с громадными загнутым клювами и маленькими злобными глазками.

— Полетим в головном вертолёте. — Пожарский пропустил вперёд свою группу из пяти человек, посадил Куравлёва, сел сам, поднял лестницу и захлопнул дверь. — Садитесь в кабину пилотов. Оттуда лучше видно.

Куравлёв прошёл к кабине, и его усадили на железный стержень, который лётчики закрепили между двух кресел. Заработали, засвистели винты. Вертолёт отжался, взлетел. Шёл близко к земле, почти на бреющем, над плоскими крышами. На некоторых лежали оранжевые плоды. Небольшие наделы в оправе глиняных изгородей мелькали сочными зелеными. Миновали ржавого цвета зимние виноградники, и вертолёт набрал высоту.

Сначала тянулась серая безжизненная степь. Потом вдали что-то туманно возникло, бескрайнее, рыже-красное. Лётчик сквозь гром винта прокричал Куравлёву:

— Пустыня Регистан! Подходим!

Среди серой степи возник круглый красного цвета холм, похожий на пузырь, который выдавила из себя земля. Холм исчез, но сразу возникло два других, потом три. Множество красных, цвета перца холмов слились в единую, до горизонта, пустыню. Она обняла вертолёт, понесла над красными барханами. Куравлёву казалось, что они летят над Марсом. Вначале он смотрел на пески, ожидая увидеть караван, вереницу верблюдов или машин. Но пустыня была девственной, безлюдной, без всяких следов человека. Только скользила по барханам тень вертолёта.

На Куравлёва вдруг накатился морок, странная сонливость, сон наяву. Пустыня околдовывала, лишала воли, усыпляла. Он подумал, что все, кто появлялся в пустыне, засыпали, исчезали, превращались в красные пески. Он почти уснул. Его толкнул локтем пилот. Что-то говорил неразборчиво сквозь рокот винтов. Указывал вниз. Куравлёв очнулся, взглянул. Под вертолётном на барханах виднелся след, похожий на надрез.

— Караван прошёл ночью! — кричал ему в ухо пилот. — Караван, говорю, ночью прошёл!

След уплыл, и снова была одурь, от которой слипались глаза.

Возник ещё один след — тонкая, прочерченная в песках колея. Вертолёт летел вдоль следа, который оборвался, уткнулся в пятно чёрной копоти, замаравшей пески. Куравлёв вгляделся. Пятном оказался грузовичок, разбитый и обугленный, с разбросанным горелым мусором.

— Позавчера замочили! — кричал лётчик. — Позавчера, говорю, сожгли!

Грузовичок и уткнувшийся в него след уплыли. Пустыня Регистан катила свои красные марсианские волны, по которым скользила тень вертолёта.

— Вот он, голубчик! — Пожарский навалился на спину Куравлёва, глядя в стекло кабины. — Долбани из курсового пулемёта, пусть встанет!

Внизу тянулся рыхлый след, который оставляли два бредущие по пустыне верблюда. Сверху были видны тюки на верблюжьих спинах. Крохотные люди шли рядом с верблюдами.

Пилот нажал на гашетку. Глухо сквозь гул винтов простучал пулемёт.

— Садимся! — крикнул Пожарский.

Куравлёв, глядя на караван, испытал азарт. Это не был азарт писателя, который обнаружил долгожданный сюжет. Это был азарт охотника, увидевшего добычу, которую нельзя упустить.

Вертолёт сел, подымая вихри песка. Второй вертолёт оставался в небе, совершая круги над караваном. Пожарский открыл дверь, выпуская одного за другим солдат. Те выпрыгивали, исчезая в туче песка. Куравлёв прыгнул в свистящий вихрь, чувствуя лицом уколы песчинок. Ноги утонули в песке. Рядом, мягко присев, появился Пожарский. Куравлёв бежал за ним, торопясь вырваться из-под свистящих лопастей.

Солдаты с автоматами приближались к каравану.

Куравлёв задышался, ноги проваливались в песок. Пожарский длинными прыжками опередил его. Они подбегали к каравану, окружённому бойцами спецназа. Куравлёв, задыхаясь, остановился. Прямо перед ним стояли два верблюда, выгнув зобатые шеи, с высоко поднятыми толстогубыми головами. На верблюдах навьючены полосатые, переполненные тюки. Рядом стояли два погонщика, худые, с чёрными, прокалёнными солнцем лицами, в долгополых хламидах. У одного чёрная чалма, у другого — белая. Руки опущены. Чёрно-фиолетовые глаза тревожно смотрели на солдат, на проносящийся вертолёт.

Куравлёв жадно запоминал. Ключки свалывшейся шерсти на верблюжьих боках. Полосатые тюки, литые, наполненные чем-то тяжёлым, сыпучим. Руки погонщиков с длинными чёрными пальцами. У одного на пальце кольцо.

Куравлёв дорожил прикосновением к загадочной жизни, обитавшей в пустыне со времён сотворения мира, когда Господь создавал эти пески, покрасив их в красный цвет. Он старался запомнить толстогубых верблюдов с жёлтыми зубами. Этим иссохших на солнце людей, принадлежавших к таинственному народу пустыни.

— Белуджи, кочевники, — сказал Пожарский. — Обернулся к солдатам. — Обыскать!

Солдаты вывинтили из автоматов шомполы и стали втыкать их в тюки. Шомполы оставляли в тюках проколы, и оттуда сыпались белые струйки риса. Шомпол уткнулся во что-то твердое.

— Режьте! — приказал Пожарский.

Солдаты штык-ножами рассекли мешки. Оттуда хлынул рис, и на гору риса выпали два автомата и гранатомёт с остроносой гранатой. Они лежали на зёрнах, а их продолжал засыпать рис.

— Собрать оружие! — приказал Пожарский. — Лыско, — повернулся он к прапорщику, — с этими двумя разберись.

Прапорщик ткнул погонщиков дулом автомата, отогнал их в сторону. Куравлёв смотрел, как встали они рядом, худые, длиннорукие, с фиолетовыми глазами, в которых исчезла тревога и появилась спокойная величавость. Солнце было в зените, и погонщики стояли на круглых маленьких тенях, как на островах.

Вертолёт с грохотом прошёл над их головами. Прапорщик поднял автомат и полоснул очередь. Оба погонщика упали, головами в одну сторону,

в чёрной и белой чалме. Теперь они будут лежать, иссыхая на солнце, и их тщи тела обгрызут голодные лисицы пустыни.

Куравлёв был потрясён. Он впервые видел убийство, был соучастником, был повязан этим убийством с Пожарским — ещё одной страшной, мучительной связью.

Прапорщик подошёл к убитым и снял у одного с пальца кольцо. Солдаты ударили верблюдов шомполами, и те послушно пошли. Медленно брели в пустыню, оставляя на песке отпечатки.

Так же бегом они вернулись к вертолёту, который не глушил винты. Пробрались сквозь песчаную бурю и расселись по лавкам. Вертолёт взлетел, и Куравлёв с высоты увидел двух верблюдов, бредущих в красных песках.

Вечером Куравлёв улетал из расположения батальона. Его провожал Пожарский.

— Просьба, Виктор Ильич. Когда вернётесь в Москву, позвоните жене Светлане. Расскажите, как мы живём. Что у меня всё нормально. — Пожарский протянул Куравлёву листок из блокнота, на котором был написан номер телефона, хорошо знакомый Куравлёву.

Глава пятнадцатая

Из Кандагара в Кабул Куравлёв возвращался ночью на “Чёрном тюльпане”. Самолёт-гробовщик раз в сутки летел по кругу, посещая все наши гарнизоны Афганистана. Собирал цинковый урожай войны. Самолёт был разделён на две половины. Ту, где размещались пассажиры, и другую — в хвостовой части, именуемой “барокамерой”, где находились гробы.

Полная луна светила в небе, окружённая радужным кольцом. Внизу проплывали ночные горы, как синие чайные сервизы. Свет луны блеснул на ледниках.

Лётчики пригласили Куравлёва в отсек рядом с кабиной. Все вместе они пили спирт, отдающий соляжкой, потому что, как объяснили лётчики, спирт незаконно везут из Союза в цистернах, где до этого перевозили соляжку.

Заунывно гудели моторы. Винты расплёскивали свет луны. Лунный свет отражался в стаканах. Куравлёв, запивая спирт водой, испытывал странное недоумение, большое непонимание жизни, в которой светит луна, синее ночной ледник, в “барокамере” лежат гробы с безвестными солдатами, которых поджидают матери в русских деревнях и посёлках, и он летит в небесах над чужой, непознанной им страной, и ему когда-нибудь суждено умереть, так и не разгадав тайну своего рождения и смерти. Эта смерть уже где-то записана, быть может, на этих ледяных вершинах, но он об этом никогда не узнает.

Утром в отеле “Кабул” он заказал телефонный разговор с “Литературной газетой”. Надиктовал стенографистке текст репортажа об истреблении каравана в пустыне Регистан. О солдатах спецназа, с которыми бежал по пескам. О верблюдах с полосатыми тюками. О погонщиках, фиолетовых, как чернослив. Умолчал о расстреле погонщиков, о гробах в “Чёрном тюльпане”. Надеялся, что репортаж успеет попасть в текущий номер газеты.

Роясь в карманах бушлата, который предстояло вернуть интенданту, он вынул листок бумаги с телефоном Светланы. Скомкал и бросил в урну. Он больше никогда не наберёт этот номер. Больше не станет встречаться с ней. Покончит с мучительной расщеплённостью, с большой укоризной, которая его разрушает.

До отлёта в Москву оставался день. Куравлёв отправился в город, чтобы купить подарки. В магазинчике, торгующем золотом и серебром, он купил серебряный браслет с голубой струей лазурита. Любезный продавец пояснил, что лазурит привезен из Файзабада, где идут бои. Дороговизна изделия объясняется трудностями доставки. Браслет предназначался Сыроедову, который собирался преподнести его любовнице.

В другом магазине продавались предметы традиционного пуштунского быта, который ушёл в прошлое. Продавец в бараньей шапке, в безрукавке, шитой шелками и серебряной ниткой, на ломаном русском предлагал Куравлёву купить старинный пистолет с длинным стволом и рукоятью, украшенной

перламутром. Вынимал из ножен кривую, тронутую ржавчиной саблю. Снимал с полки седло из разноцветной кожи. Предлагал особую пуштунскую мандолину. Куравлёв всё это внимательно рассматривал, вдыхая запах старинной кожи. Но выбрал коллекцию женских украшений из сердолика, яшмы и лазурита, с металлическими блёстками, в которых пуштунские красавицы появлялись на людях. Этот подарок предназначался жене Вере.

В соседней лавочке он приобрёл шкатулку, искусно склеенную из ломтиков лазурита, яшмы и малахита, и блюдо из тех же склеенных камней. Шкатулка украсит стол старшего сына Степана, блюдо достанется младшему Олежке.

Совершив покупки, Куравлёв ещё погулял по городу. Смотрел, как в огненной яме пекут лепешки, лепят кругляки теста на пылающие стены ямы. В харчевне ел кусочки мяса, завернутого в лаваш, под взглядами посетителей харчевни, куда не часто заходят русские.

Он улетал из Кабула, глядя в иллюминатор на разноцветные наделы, на глиняные строения, на удалявшиеся виноградники и арыки. Прощался со страной, которую больше никогда не увидит.

Пока он летел в Ташкент, за ним клубились воспоминания. Разрушение Мусакалы, ревущие “Ураганы”, красные пески пустыни, упавшие на песок погонщики. Но когда после Ташкента он пересел на московский рейс, все мысли устремились вперёд. Хотел узнать, как встретили его афганские репортажи. Что скажут о них приятели Макавин, Афанасьев и Лишустин. Взял ли для перевода Саша Кемпфе его “Небесные подворотни”. И когда состоится поездка в Париж, обещанная всемогущим Андреем Моисеевичем.

Он торопился обнять жену, расцеловать детей. Благодарил судьбу за то, что подарила ему грозные незабываемые впечатления и оставила в живых. И ещё он думал, как пригласит на прощальный ужин Светлану, всё объяснит, и они расстанутся. И наступит облегчение. Он начнёт писать книгу, проводя утро за рабочим столом. А к вечеру отправится в ЦДЛ, в гомон Пёстроного зала, где пьют, ссорятся, хвастают и иногда даже говорят о горнем.

По дороге из Домодедова в Москву он любовался чудесными березняками, которые сверкали среди русских снегов.

Ночью, обнимая жену, он вновь подумал, как странен и необъясним этот мир, в котором убивают, любят, идут на подвиг во имя правды, которая порою оборачивается ложью.

Глава шестнадцатая

Утром Куравлёв достал из почтового ящика сразу два номера “Литературной газеты”, что вышли в его отсутствие. В обоих были его репортажи. Один назывался “Штурм Мусакалы”, другой — “Охотники за караванами”. Репортажи занимали почти целые полосы. Их сопровождали снимки военной фотохроники. Куравлёв наугад выхватывал фразы, был горд своей работой. Газеты уже прочитали в домах, в библиотеках, в министерствах, в метро и электричках.

Сыроедов встретил его весёлой похвалой, в которой звучала благодарность:

— Здравствуйте, воин! Мне звонили из ЦК, из идеологического отдела. Просили, чтобы я подробнее о вас рассказал. Звонили от имени Александра Николаевича Яковлева. Я думаю, в вашей судьбе зревают серьёзные изменения. Поздравляю!

Куравлёву было лестно слышать, что им интересуется главный идеолог “перестройки” Яковлев. Он извлёк из кармана серебряный браслет с волной лазурита:

— Вы просили привезти. На запыстье вашей любовницы это будет красиво.

— Вы действительно поверили, что у меня есть любовница? Теперь придётся вести. — Сыроедов, похотывая, принял подарок.

После визита в газету Куравлёв отправился в ЦДЛ. Хотелось в присутствии друзей выпить бокал вина, рассказать о поездке и почему-то о чёрнолой калоше, найденной в Мусакале.

Он позвонил Светлане, услышал её тихий голос, по которому нельзя было понять, рада ли она его возвращению. Назначил свидание в ЦДЛ для прощального ужина.

Он шёл в ЦДЛ среди капели, которая случается среди зимней оттепели. Асфальт был мокрый и синий. С крыш сбивали сосульки. Их солнечные люстры падали, звонко ударялись о землю, рассыпались блестящими взрывами.

Куравлёв входил в ЦДЛ, как герой, быть может, как Симонов с фронта. Овеянный славой, известностью, вызывал восхищение одних и скрытую зависть других.

Первым, кого он встретил, оказался Олег Васильевич Волков, худощавый бодрый старик с седой благородной бородкой. Когда-то он состоял членом кадетской партии, водил знакомство с Милюковым и Набоковым, за что получил двадцать лет лагерей. Он отбыл под Каргополом весь срок и не погиб потому, что умел ставить петли на зайцев и куропаток, и его добычей кормились и узники, и конвоиры. Теперь он писал милые детские рассказы о животных, и по этим рассказам нельзя было судить о перенесённых им ужасах.

Волков встретился Куравлёву в фойе. Куравлёв радостно устремился к нему, поздоровался. Но Волков прошёл мимо, глядя поверх головы Куравлёва. Куравлёв удивился рассеянности старика. Догнал, забежал вперёд:

— Здравствуйте, Олег Васильевич!

Но Волков не ответил. С какой-то брезгливостью обошёл Куравлёва и скрылся.

Раздосадованный Куравлёв вошёл в бар, где надеялся встретить друзей и выпить коктейль “Шампань Коблер”. Ему повстречалась поэтесса, слышавшая уточнённым мастером акростиха, получила за это какую-то европейскую премию. Она всегда с симпатией относилась к Куравлёву, и однажды они вместе поужинали. Он её окликнул, шутливо раскланялся:

— Верно ли, что акростихом в России владели только Пушкин и Саша Чёрный?

Поэтесса посмотрела на него и повернулась спиной.

Сидевшие за столиком писатели, дружившие некогда с Трифионовым, увидев Куравлёва, умолкли и отвернулись. На него наткнулся куда-то спешивший Святогор. Хотел увильнуть, но Куравлёв схватил его за рукав:

— Маркуша, что происходит? Почему от меня шарахаются, как от чумы?

— От афганской чумы. Твои репортажи обсуждаются в писательской среде, и писатели выражают тебе своё презрение. Ты нерукопожатный.

— Да в чём дело?

— Я предупреждал тебя: не ездь в Афганистан. Теперь все считают, что ты трубадур грязной войны, которую развязал преступный режим.

— И ты так думаешь?

— Я нет, — замылся Марк. — Но Андрей Моисеевич сказал: “Куравлёв — моё самое горькое разочарование”.

— Значит, мне не видать Парижа? — зло засмеялся Куравлёв.

— В Париж поехал Макавин. Я его водил к Андрею Моисеевичу. Андрей Моисеевич от него в восторге. Ты сам всё испортил. Кто-то едет в Кабул, а кто-то в Париж.

— Выходит, мне объявили бойкот?

— Саша Кемпфе взял к переводу книгу Макавина “Шепчущие камни”, а от твоей отказался. Сам во всём виноват!

— Но, надеюсь, ты так не думаешь?

— Извини, я должен бежать. — Святогор трусливо оглянулся на сидящих за столиком писателей. Сунул Куравлёву мятый номер “Московских новостей” и убежал.

Куравлёв сел в Дубовом зале за стол, ожидая Светлану. Развернул “Московские новости”, уже побывавшие во многих руках. Стал бегло читать. Выступление Горбачёва в Америке, в университете Джорджа Вашингтона. Выступление Яковлева перед профессорами в Москве. Воспоминания узника ГУЛага. Правда о мяснике — маршале Жукове. Интервью с ведущим программы “Взгляд” Владиславом Листьевым. И вдруг статья Натальи

Петровой: “Охотник за “цинковыми мальчиками”. В ней говорилось, что русские писатели часто описывали войну: Толстой написал “Севастопольские рассказы”, Лермонтов — “Валерик”, Леонид Андреев — “Красный смех”. Но везде война предстаёт как ужасное, отвратительное явление. Другое дело — война в очерках Виктора Куравлёва. Здесь воспевание войны, смакование кровавых сцен, упоение картинами разрушения. Такое чувство, что автор поехал в Афганистан полюбоваться на цинковые гробы, покрасоваться на фоне “цинковых мальчиков”. Это отвратительно, является трупными пятнами большевизма, проступающими сквозь тексты писателя-”баталиста”.

Куравлёв был опрокинут. Статья написана хлётско, с яростью, неистовой ненавистью. Природа этой ненависти, как казалось Куравлёву, скрывалась не в литературных или политических пристрастиях, а в оскорблённом женском чувстве. Та маленькая оплошность, допущенная Куравлёвым в Пёстром зале, разбудила в женщине неистовую ненависть. Статья расстреливала Куравлёва в упор. Куравлёв вдруг остро ощутил, представил воочию борозду, расчленившую надвое его писательский мир и, более того, всю страну. Борозда была полна крови. По одну её сторону скопились те, кто объявил Куравлёву бойкот, торопил гибель страны, хулил воюющую армию, издевался над героями войны, забрасывал страну костями ГУЛага. По другую сторону борозды находился он и множество растерянных людей, не понимающих, откуда веет бедой, кто породил чудовищный оползень, в котором страна сползает в бездну. И с этой минуты кончается его романтическое писательство, а начинается смертельная схватка с теми, кто провёл борозду и напился её кровью.

С этими мыслями ожесточённый, ненавидящий Куравлёв пил вино, дожидаясь прихода Светланы. Через зал шли Гуськов и Лишустин. Увидели Куравлёва и подсели к нему.

— Вы разве не знаете, что я нерукопожатный? Вам не страшно заразиться “афганской чумой”?

— Да брось ты, Витя! Наплюй! Радуйся, что после их рукопожатий руки мыть не надо! — Лишустин кивнул туда, где за столом собрались поэты, недавние диссиденты. — Хорошо написал, сочно. Но в Афганистан нам не нужно было соваться. Весь наш Север, вся Центральная Россия пустыне, как Батый прошёл. Там наше дело, а не в Афганистане!

— Империя всегда воюет на своих окраинах, — философски произнёс Гуськов. — Она не может не воевать. Иначе она не империя. Другое дело, как воюет. Ты, Куравлёв, рассказал, как воюет. Тебе за это хвала. Но теперь ко многим не подходи. Ты, Витя, на Наташку наплюй. Она была замужем за племянником Андрея Моисеевича. Его поля ягода. Как и Маркуша Святогоров.

Они ушли. Куравлёв был благодарен друзьям. Они не изменили дружбе. Пошёл встречать Светлану.

Она была в короткой дублёнке, отороченной мехом. На дублёнке — тёмные пятнышки от упавших капель. Помогая раздеться, Куравлёв вновь уловил горький запах её духов. Он почувствовал, что не сможет с ней расстаться.

Официантка Лариса приняла у них заказ.

— С возвращением, — сказала Светлана.

— Спасибо. — Куравлёв отпил вино, чтобы она не заметила, как у него дрожит голос.

— Виделся с Пожарским?

— Да.

— Ты ему всё рассказал?

— Нет. Но мне было так тяжело. — Куравлёв искал слова, чтобы произнести прощальную фразу.

— Я беременна, — сказала Светлана.

— Что?

— Я беременна.

— Как? — Куравлёв забыл все прощальные фразы, которые тщательно готовил.

— Я беременна. Но ты не пугайся. Я сделаю аборт.

— Что ты говоришь! Ты действительно беременна?

— Я сказала, я сделаю аборт. — Её голос был резким и злым. Она видела, как он испугался. Была готова встать и уйти.

— Ты не можешь сделать аборт! Не можешь его убить! — Куравлёв старался её удержать.

— Ты считаешь, что я рожу, вернётся Пожарский, и я радостно покажу ему младенца? — Она засмеялась, и в смехе её были слёзы.

— Подожди, давай всё обдумаем. Мы что-то решим. Ты не можешь сделать аборт и убить моего ребёнка!

— Хочешь сказать, что уйдёшь из семьи, я разведусь с Пожарским, и мы счастливо заживём втроем: ты, я и наш ребёнок?

— Подожди, мы что-нибудь придумаем. Ты не можешь убить ребёнка!

Он путался, не находил слов. Ужасная двойственность, которой он хотел положить конец, стала ещё ужасней. Он был беспомощен. Любил её. Любил вместе с той жизнью, которая теперь наполняла её. Это была и его жизнь. И страшно было подумать, что эту робкую чудесную жизнь убьют из-за него, Куравлёва. Какой-нибудь изверг в белом халате вонзит отточенное железо в его любимую. И в ней убьёт хрупкое крохотное тельце, крохотный клубочек, из которого может родиться богатырь-сын или красавица-дочь.

Всё в нём продолжало путаться, он говорил что-то невнятное, беспомощное и любил её бесконечно.

— Обещай не делать аборт. Мы что-нибудь решим.

— Хорошо, — устало сказала она. — Конечно, что-нибудь решим.

Он отвез её домой на “Академическую”. Она лежала в постели, в сумерках. В гостиной горела настольная лампа. Куравлёв видел вазу с синими быками. Целовал её живот, который чуть вздрагивал от его поцелуев. Целовал не родившегося ребёнка, вдыхал в него свою нежность.

Глава семнадцатая

Утром Куравлёв завтракал вместе с детьми. Младший Олежка деловито укладывал в портфель учебники и тетрадки. Старший Степан неохотно собирался в нелюбимый институт. Вера хлопотала, раскладывала по тарелкам омлет. Куравлёв, глядя на детей, на утреннюю, домашнюю, в синем халатике жену, понимал, что никогда не сможет с ними расстаться. Никогда не нарушит данный жене обет оставаться с ней на всю жизнь, какой бы мучительной и горькой эта жизнь ни казалась.

Он думал о Светлане, вспоминал их вчерашний вечер, её дышащий живот, её руки, которыми она гладила его волосы. Тосковал, укорял себя, понимал, что не может с ней расстаться. Любит её и неродившееся дитя.

Позвонил телефон. Женский голос произнёс:

— Виктор Ильич, с вами говорят из приёмной Георгия Мокеевича Маркова. Георгий Мокеевич просит вас зайти.

— Когда? — удивлённый звонком, спросил Куравлёв.

— Чем скорее, тем лучше. Георгий Мокеевич вас ждёт.

Это приглашение было неожиданным. Георгий Мокеевич Марков, первый секретарь Союза писателей СССР, член ЦК КПСС, был недостижимо высок. В дни государственных торжеств и скорбей стоял на трибуне Мавзолея рядом с высшими лицами страны. Между ним и Куравлёвым не могло быть близких отношений. Лишь иногда издалека Куравлёв видел высокого, стареющего Маркова, который в прежние годы воевал с Японией и выпустил несколько блёклых военных романов. Он был спокоен, с доброжелательным лицом, в котором, как и у многих забайкальских сибиряков, просматривались черты малых, населяющих Сибирь народов.

“Большой Союз” размещался в старинной усадьбе, примыкавшей к Дому литераторов и носившей имя “усадьба Ростовых” — якобы она описана Львом Толстым. Помимо “Большого Союза” существовал Союз писателей России, который помещался в великолепной, с колоннами, усадьбе на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Два эти Союза тайно соперничали, хотя “Большой Союз” возвышался над “Малым”.

Секретарша доложила о прибытии Куравлёва, и он прошёл в кабинет. Он оказался невелик, обставлен старинной мебелью. На стене висел ковёр с изображением какой-то литературной знаменитости, то ли узбекской, то ли туркменской. На столе белел телефон правительственной связи.

Марков поднялся навстречу Куравлёву. Его рукопожатие было мягким, радушным. Ладонь тёплой.

— Как афганская поездка? Наше поколение всё прошло через войну. Из вашего, пожалуй, вы единственный.

— Я не воевал, Георгий Мокеевич. Только соприкасался с войной.

— Ваши репортажи — это тоже война.

Марков усадил Куравлёва в кресло и некоторое время молча двигал губами, словно пробовал на вкус слово, которое был готов произнести.

— Я вас позвал, чтобы передать приглашение. В Вёшенской будет выездной пленум Союза писателей. Делегация вылетает сегодня.

Марков снова умолк, шевелил губами, и в этом старческом шевелении была неуверенность, те ли слова он подбирает. Убедился, что те, и заговорил:

— Многим захотелось познакомиться с писателем нового поколения, продолжающим традиции советской литературы. Что вы на это скажете?

— Я готов.

— Тогда собирайтесь. Сегодня вечером вылет в Ростов.

Куравлёв покидал кабинет Маркова взволнованным, воодушевлённым. Только что писательское сообщество осудило его, сделало изгоем, нерукопожатным. Статья Петровой ставила крест на его репутации. Но теперь его огорчения и печали отступили. Вечером он вылетел в Ростов. Спецборт поднялся из правительственного аэропорта во Внуково.

В салоне стоял стол, за которым собрались секретарь ЦК Зумянин, министр культуры, замминистра обороны Асов, секретарь Союза писателей Марков. Нашлось место и для Куравлёва. Собравшиеся хорошо знали друг друга, по-семейному спрашивались о здоровье, шутили, чуть искоса поглядывали на Куравлёва. Тот смущался, глядя на этих властных и теперь столь доступных в одном с ним застолье людей.

— Виктор Ильич Куравлёв, — представил его Марков. — Писатель, только что опубликовал репортажи из Афганистана.

— Читал, — сказал Зумянин. — Нам нужна правдивая литература об Афганской войне. А то появилось много вредоносных фальшивок. А отпора им нет.

— Как так получается? — спросил замминистра обороны. — Армия героически воюет. Ей в лоб стреляют афганские гранатомёты, а в спину бьют перья продажных писак.

— А написали бы пьесу об Афганистане? — обратился к Куравлёву министр культуры. — Мы её поставим на сценах ведущих театров.

— Не знаю, почему дана такая свобода писакам, хающим советскую власть? — посетовал замминистра обороны.

— Мы контролируем этот процесс. Михаил Сергеевич Горбачёв допускает критику органов власти, — сказал Зумянин.

— Мы сталкиваемся с ростом нигилизма, — заметил Марков. — Нам дороги писатели нового поколения, которые отстаивают советские ценности. — Он посмотрел на Куравлёва.

Стюардесса застелила стол скатертью. Появилась рыбная и мясная закуска. Рюмки наполнились дорогим коньяком. Поднимали тост за Шолохова, за армию, за генерального секретаря Горбачёва. Куравлёв чокался со всеми и думал, не на эти ли перемены в его судьбе намекал Сыроедов?

В Ростове они переночевали в гостинице. У Куравлёва был прекрасный люкс с буфетом, где стояли сервизы, хрустальные рюмки. Здесь можно было принимать гостей. Куравлёв позвонил Светлане, но она не сняла трубку. Должно быть, уже спала.

Утром в самолёт Як-40 подсели новые пассажиры. Секретарь Ростовского обкома, начальник военного округа, директор “Атоммаша”, профессора университета. Лёгкий самолёт перенёс их в Вёшенскую, опустившись на снежное

поле. Все пошли в гостиницу, чтобы через несколько часов отправиться в дом Шолохова.

Куравлёв шёл вдоль Дона. Берега были белые, в талом снегу, а Дон — чёрный. Вода лениво текла мимо круч, темнели корявые вёстры, лежала на снегу лодка. Куравлёв шагал по мокрому снегу, который оседал под ногами, и думал. По этой тёмной воде протекло грохочущее кровавое время, когда люди рубились шашками, вешали и стреляли друг друга, и из этой окрашенной кровью воды родилась великая книга. И если долго смотреть на воду, в ней зарыдают от горя, захрипят от ненависти, зашепчут любовные признания, запоют казачьи песни герои этой великой книги. И если испить донской воды, то откроется тайна сотворения этой книги, тайна творца, который доживает свой век в усадьбе на крутом берегу.

Куравлёв слепил снежок и кинул в Дон. Снежок поплыл, и он шагал, глядя на плывущий снежок. Подумал об отце, который воевал в штрафном батальоне на Донском фронте, и, быть может, вода запомнила отца, как теперь запоминает его. Куравлёв остановился, словно хотел, чтобы вода лучше его запомнила.

На берег, на снег слетел скворец. Чёрный, с лиловым отливом, в жемчужных крапинках, он сел перед Куравлёвым, посмотрел блестящими глазками и побежал, перебирая быстрыми лапками. Остановился и оглянулся на Куравлёва, словно подзывал. Куравлёв пошёл к скворцу, но когда приблизился, скворец быстро засеменял лапками, отбежал и снова остановился, подзывая его. Тот снова пошёл, думая, что скворец улетит. Но скворец подпустил к себе Куравлёва и побежал, темнея на снегу воронёным тельцем, оглядывался на него крохотными глазками.

Куравлёв вдруг подумал, что это не просто скворец, а вещая птица, которая явилась ему на берегу Дона, и эта вещая птица ведёт его, указывает путь. Не только сегодня, но и всегда вела, невидимая, вещая, протаптывала хрупкими лапками путь Куравлёва. С самого детства, когда бабушка вела его в детский сад по розовой морозной Москве, и он чувствовал сквозь варежку её крепкую руку. И когда мальчиком шёл по лесу в предчувствии чуда, зная, что оно близко, где-то за берёзой, и чудо явилось: он нашёл белый гриб, темневший в траве бархатной шляпкой. И когда шёл за гробом матери, боясь отпустить деревянный косяк гроба, желая продлить свою земную связь с мамой. И когда двигался по тропинке в Останкинском парке и увидел художницу, рисующую усадьбу Шереметьева, и эта художница стала его женой. И когда торопился к родильному дому, из которого вышла жена, прижимая к груди белый свёрток, где попискивал его первенец Стёпушка. И тогда, в Пёстром зале, когда увидел Светлану с чашечкой кофе и пошёл к ней, уже обожая её. И в Афганистане, когда бежал по красному песку, и впереди, на бархане маячили верблюды. И теперь, на берегу Дона, куда как бы позвал его великий летописец, послал ему вещую фиолетовую птицу.

Скворец вспорхнул и улетел, а Куравлёв стоял на берегу, чувствуя предрешённость своей жизни, предрешённость своей судьбы.

К обеду гости собрались у дома Шолохова. Гурьбой, теснясь, вошли в прихожую. Развешивали шубы, пальто, шинели и по одному проходили в гостиную на первом этаже. Здесь стояли столы вдоль стен, уставленные букетами, бутылками коньяка, вина и водки. Куравлёва поразило обилие цветов. Сочные, яркие, с холодным оранжерейным запахом, они напоминали цветы, которые приносят ко гробу.

Начались восхваления. Зумянин говорил о роли Шолохова в становлении государства, о книгах, на которых воспитано несколько поколений советских людей. Тост за тостом продолжались восхваления.

Когда все понемногу утомонились, вышел писатель Виталий Закруткин, такой же казак, как и Шолохов, его друг и обожатель. Запел, сначала невнятно, ломко, но потом всё сочнее, вольнее, навзрыд. Он пел о соловье, что летает по чужим садам и никак не может вернуться в родной сад. Пел о казаке, которого военная доля носит по чужим краям, и он всё не может вернуться домой, испить воды из Дона.

Покинув дом Шолохова, отправились в сосновый лес, что начинался сразу за Вёшенской. Там уже горел костёр, пылали поленья, озарялись вершины сосен, летели вверх красные искры. Продолжали пить, и всё за Шолохова, за казачество, за литературу, за русский язык, за Михаила Сергеевича Горбачёва.

Марков подошёл к Куравлёву:

— Мы посоветовались и решили ввести вас в Секретариат Союза писателей. Скоро съезд, и я думаю, вашу кандидатуру утвердят. Что вы на это скажете?

— Так неожиданно, Георгий Мокеевич!

К ним подошёл Зумянин:

— Виктор Ильич, вы член партии?

— Нет.

— Почему? Партия, особенно в период “перестройки”, нуждается в честных писателях. Вступайте, вступайте в партию.

Зумянин и Марков отошли, их заслонило пламя костра. Казалось, что они сгорели. Голова Куравлёва пьяно кружилась. Он смотрел, как от поленьев отваливаются красные угли, как тает снег вокруг костровища.

Глава восемнадцатая

Из аэропорта Куравлёв торопился позвонить Светлане. Услышать её слабый, испуганный голос. Успокоить, обещать, что всё наладится, всё устроится само собой. Из аэропорта он приедет к ней, станет целовать её заплаканные глаза, дышать на живот, где уже теплится их будущее дитя. Хотел рассказать о вещем скворце, о казачьих песнях. Позвонил, но Светлана не сняла трубку. В дороге ещё несколько раз звонил из автоматов. Светлана не откликнулась.

Огорчённый, встревоженный, он вернулся домой, жене и детям рассказал о поездке.

Утром раздался звонок. Звонила Светлана:

— Где ты была? Я так волновался, — принялся он её укорять.

— Я в больнице. Я сделала аборт. Приезжай, заberi меня.

— Как? — ужаснулся Куравлёв. — Ты не могла это сделать!

— Ничего не говори, просто заberi меня. — Она назвала адрес больницы.

— Что-нибудь случилось? — Вера, ещё сонная, неприбранная, стояла на пороге кабинета.

— Ничего, — ответил Куравлёв. — Срочно вызывают в Союз.

— Хотя бы позавтракал.

— Да нет же! Сказал, очень срочно!

Он катил по Москве, опрокинутый, бессильный. Не понимал, как она могла совершить такое. Воспользовалась его отсутствием и совершила ужасное дело. Накануне, когда с ней встречались, она уже знала, что сделает это. Когда целовал её дышащий живот, она знала, что пойдёт к хирургу, и тот вонзит ей в лоно отточенную сталь. И как это все ужасно, как преступно... Какое непоправимое зло она совершила!..

Он ехал по дымным трассам, полным машин. Видел, как по тротуарам идёт народ. На перекрёстке заметил высокую новогоднюю ёлку. И боль его была беспредельна. Многолюдный город казался опустошённым. Тот, кого он уже любил, кому подыскивал имя, был зарезан. Никогда не увидит этой ёлки с голубыми шарами.

Он подъехал к больнице, зашёл в вестибюль. Былолюдно, стояли большей частью мужчины, толгались, не смотрели один на другого. Все поворачивали головы к дверям, в которых появлялись женщины. Здесь были молодые, почти ещё девочки. Средних лет, достигшие зрелой женственности. Были стареющие. Но у всех сквозил одинаковый взгляд, растерянный, угнетённый, ищущий. Куравлёв подумал, что все они были детоубийцами.

Куравлёв ждал появления Светланы, готовился сетовать, упрекать, жестоко укорять. Но вот она появилась в дверях, и всё в нём опустилось, утихло,

все укоризны померкли, такая она была бледная, с выцветшими губами, с тусклыми, утратившими блеск волосами. И только глаза казались большими, испуганными, слезными. И Куравлёв понял, как любит её, как жалеет и её, и себя, и того, исчезнувшего в ней навеки. Кинулся к ней:

— Моя милая, милая! — принял от неё какой-то кулёк, обнял за плечо, повёл к машине.

Она была вялой, пустой, словно у неё вырезали сердцевину. Он сравнил её с рыбой, которая без внутренностей лежит на столе, ещё живая, хлопает жабрами, вращает глазами.

Дорогой она молчала. Дома, когда он ввёл её в квартиру, сказала:

— Спасибо тебе. Только ничего не говори. Не тревожь меня несколько дней. Поговорим позже.

И он послушно ушёл, благодарный за то, что она его пощадил. Отложила на потом все объяснения, утешения, раскаяния.

Куравлёв приехал в ЦДЛ. Здесь, как всегда, было людно, шумно. В баре появился Макавин. Увидев Куравлёва, шагнул к нему. Они обнялись, стали пить водку. Куравлёву казалось, всё начинает тихо уплывать. Макавин со своим уральскими скулами. Барменша Валентина, встряхивающая коктейль “Шампань Коблер”. Светлана, передавшая ему нищенский кулёк. Бегущий по снегу лиловый скворец. Всё уплывало, а он стоял на берегу и смотрел, как оно уплывает. И была таинственная сладость видеть исчезновение всего и запомнить, чтобы когда-нибудь воскресить из мёртвых.

— Как Париж? — спросил Куравлёв.

— Отлично! Пили французское вино, заедали устрицами. Было много писателей из Европы и Латинской Америки. Я подписал договор с “Имка-пресс” на издание “Шепчущих камней”.

— Говорят, на немецкий тебя будет переводить Саша Кемпфе.

— Да, у меня договор с “Бертелсман”.

— Поздравляю. — Куравлёв испытал неприязнь к Макавину. Тот вместо него укатил в Париж, оттеснил от толстяка Кемпфе, который отказался переводить “Небесные подворотни”, занял место в сердце Андрея Моисеевича Радковского, изгнав оттуда Куравлёва.

Макавин уловил эту неприязнь:

— Витя, я слышал, что на тебя начались нападки за твою афганскую поездку. Какие-то чухлые диссиденты, какие-то детские писатели, дура Наташка Петрова. Поверь, это легко исправить. Объясни, что это редакционное задание, что кто-то должен освещать “горячие точки”. Хочешь, я это объясню Андрею Моисеевичу? Твою репутацию можно восстановить.

Куравлёв почувствовал, как неприязнь превращается в бешенство.

— Ты будешь восстанавливать мою пошатнувшуюся репутацию? Станешь хлопотать за меня перед Андреем Моисеевичем или Генрихом Исааковичем? Да я горжусь, что был с моей армией в трудную минуту, а не распивал шабли в ресторанах Парижа!

— Ну что ты, что ты, Витя! Не хотел тебя обидеть!

Куравлёву показалось, что Макавин доволен этой нервной вспышкой, до которой довёл Куравлёва. Между ними пролегла та же борозда, что продолжала расчленять человеческие связи и дружбы. Эта борозда ещё не слишком широка, через неё ещё можно друг до друга дотянуться и обменяться рукопожатиями, но обняться уже невозможно.

Ночью Куравлёву привиделся сон. Будто Макавин, седой, с закрытыми глазами, идёт по сельскому кладбищу среди металлических, тускло блестящих крестов, останавливается у открытой могилы. У Куравлёва страх, что Макавин с закрытыми глазами упадёт в могилу, и надо его предупредить, отвести от могилы. Он проснулся с колотящимся сердцем. Думал в ночи, чем он провинился перед Макавиным, в чём согрешил против друга.

Утром в его кабинете раздался звонок. Звонила Светлана. Её голос был резким, требовательным, торопливым, словно она боялась, что Куравлёв не выслушает её и положит трубку.

— Хочу сегодня тебя увидеть. Можно?

— Конечно, очень рад. Как себя чувствуешь?

— Вечером в ЦДЛ... — На последних словах она задохнулась, и Куравлёву показалось, что этот вздох предшествует рыданию.

Вечером он встречал её в ЦДЛ, поглядывая на каменных истуканов со старушечьими головами, охранявших вход. Светлана появилась из холодной синевы московского вечера. На ней была знакомая, отороченная мехом дублёнка. Волосы, уложенные как прежде, отливали позолотой, и на них таял снег. Она по-прежнему была свежа, хороша. Губы вновь розовые, покрыты прозрачной помадой. Куравлёв, помогая Светлане раздеться, посмотрел на её живот, в котором вчера она убила их неродившегося младенца.

Они уселись за столик у готического окна. Пышногрудая Таня предложила сделать заказ.

— Нет, нет! — отказалась Светлана.

— Ну, может, по бокалу вина? Танечка, принеси бутылку “Цинандали” и жюльены. Остальное закажем позднее.

— Позднее? А что будет позднее? — в голосе Светланы дрогнули близкие слёзы.

— Что случилось? — Куравлёв почувствовал, что приближается нечто ужасное, о чём он не желает знать. Не давая этому ужасному открыться, отодвигая его, заколдовывая.

— Я должна тебе что-то сказать. Я пришла сказать, что мы расстаёмся. Больше не увидимся.

— Почему? Почему? — То ужасное, которого он не хотел знать, которое отгонял, заговаривал, теперь это ужасное открылось. — Почему?

— Всё, что у нас случилось, не имеет будущего. Ты не уйдёшь из семьи. Скоро возвращается Пожарский. Он мой муж, я люблю его. Мы отправляемся в Турцию, он будет военным атташе в Анкаре. Всё, что у нас с тобой было, это случайность, моё помрачение. Теперь оно кончилось.

— Но я люблю тебя! Уйду из семьи. Мы уедем. Нас никто не найдёт. Ведь ты этого хотела, правда?

— Перестань, будь мужчиной. Благородным мужчиной.

— Вздор, я тебя никуда не пущу! Я люблю тебя! — Куравлёв протянул руку, желая её коснуться.

— Не смей меня трогать! Ухожу! Не преследуй меня!

— Не отпущу! — Он схватил её руку, но она отдернула её:

— Не смей касаться меня! Я тебя не помню, не знаю, кто ты! Тебя нет, нет! — Она встала и пошла, гневно стуча каблучками по паркету. Официантки смотрели ей вслед. Куравлёв остался сидеть, без сил, опрокинутый, не понимая, почему случилась эта беда.

“Но нет! — Он очнулся. — Надо бежать, догнать, остановить! Уехать в солнечный Крым, где её любимое море, греческий храм в Херсонесе. Догнать её!” Куравлёв вскочил, выбежал из Дубового зала, пробежал Пёстрый зал, тусклый от табачного дыма, с изображением рогатого Вельзевула. Вылетел в вестибюль, мимо каменных старух, без пальто, в холод, в снег. Устремился к Садовой, которая мерцала огнями. Добежал до угла. Её не было. Мимо с воем сирен, разбрасывая фиолетовые сумасшедшие огни, промчался кортеж, как стая хищных глазастых животных. И этот кортеж унёс её, оставил его горевать. Он не понимал, что это было, прекрасное, мимолётное, сделавшее его несказанно счастливым, а потом до конца дней — неутешно несчастным.

(Окончание следует)